

Напольских В. В. (Ижевск)

К реконструкции лингвистической карты Центра Европейской России в раннем железном веке.

Настоящий обзор имеет целью обрисовать в основных чертах картину взаимодействия различных языковых компонентов в Центре Европейской России и на сопредельных территориях с начала первого тысячелетия до н. э. до первых веков н. э. как она может быть реконструирована по современным данным языкознания. Я сознательно ограничиваюсь только лингвистической сферой и оставляю в стороне такие важнейшие для палеоисторических построений источники как археологический и антропологический (в том числе – палеоантропологический) материал, точнее – пытаюсь абстрагироваться от него с тем, чтобы имеющиеся представления об археологических культурах, миграциях и хозяйственно-культурном укладе населения данных территорий не влияли на объективно следующие из анализа языковых данных выводы. Такой подход представляется оправданным, поскольку отражение древних исторических процессов в языке (материал) и способы реконструкции этих процессов (метод историко-лингвистического анализа) являются самостоятельными, и взаимная корректировка (точнее – подгонка друг к другу) выводов столь разных дисциплин как, например, археология и лингвистика, искажают историческую картину. Каждое из этих направлений должно прежде всего предоставить историку бесспорные факты и надёжные выводы, достоверность которых не может быть оспариваема исходя из фактов и выводов другой дисциплины, и – с другой стороны – сформулировать вырастающие из анализа, например, языкового материала, проблемы, решение которых возможно только в результате создания комплексной палеоисторической модели.

Решение поставленной задачи состоит из следующих блоков.

1. Анализ субстратной топонимики региона. Это задача стоит несколько особняком, поскольку, во-первых, здесь в руках исследователя практически нет методов, позволяющих датировать тот или иной топонимический слой. Во-вторых, опыт серьёзных топонимических исследований показывает, что достаточно надёжно может быть выявлен как правило только верхний субстратный топонимический слой (в нашем случае – непосредственно дорусский, т. е. по времени формирования относящийся никак не ранее чем к концу I тыс. н.э.), попытки же выявления более глубоких (древних) топонимических пластов встречают труднопреодолимые и всё нарастающие по мере продвижения в древность препятствия и приносят гораздо более гипотетические и расплывчатые (как в плане надёжности, так и в плане языковой атрибуции, соотнесения с известными языками) результаты. Поэтому для нашего исследования топонимические данные имеют лишь косвенную ценность: они позволяют несколько удревнить современную языковую карту региона и дополнить наши построения данными о некоторых языках, которые без учёта топонимики остались бы вовсе за пределами возможностей исторической реконструкции (прежде всего – *мерянский язык*), но эти данные всё-таки отражают картину более позднюю по сравнению с интересующей нас эпохой.

2. Реконструкция праязыковых состояний для языков тех групп и семей, присутствие которых на данной территории следует предполагать: какие древние языки и, в частности, какие языки-предки современных могли существовать на территории Центра Европейской России в I тыс. до н. э. Здесь следует рассмотреть проблемы классификации языков интересующих нас семей (построение *родословного древа* и установления характера древних праязыковых единиц: представляла ли та или иная из них собой относительно единый язык или достаточно расплывчатую общность родственных языков и диалектов, контактировавших между собой), проблемы абсолютного датирования праязыковых

распадов (с помощью данных о заимствованиях из языков с ранней письменной фиксацией, анализа культурной праязыковой лексики, метода *глоттохронологии* – подсчёта «лингвистических расстояний» между родственными языками в соответствии с сохранившейся в них долей древней лексики общего происхождения, соотносящегося со временем, прошедшим с момента расхождения исторических судеб этих языков [Сводеш 1960; Старостин 1989]), проблемы географической локализации праязыковых общностей (прежде всего – метод *лингвистической палеонтологии*, когда с помощью выявления комплекса слов, обозначающих явления климата, рельефа, названий растений и животных в определённом праязыке и наложения их на карту региона, в соответствии с данными палеобиогеографии, устанавливается *праязыковой экологический ареал* – район, который так или иначе должен был соотноситься с районом обитания носителей данного праязыка [Napolskikh 1993]). Важнейшую роль (пожалуй, даже более важную, чем вопросы праязыка и прародины) в палеоисторических построениях играет реконструкция древних контактов между носителями разных языков на основании данных языковых заимствований и помещение этих контактов во времени и пространстве.

3. Реконструкция элементов материальной (и по возможности духовной) культуры сообществ, говоривших на интересующих нас языках: анализ праязыковой лексики, исходящий из предположения о том, что существование в праязыке терминов, обозначающих те или иные культурные реалии (во всяком случае, тогда, когда реконструкция ни с фонетической, ни с семантической точки зрения возражений не вызывает, и когда восстанавливается некоторый системный набор терминов, относящихся к определённой сфере культуры) предусматривает существование соответствующих реалий в культуре носителей праязыка. Здесь опять-таки особое значение имеет выявление отражённых в заимствованиях следов культурных контактов между носителями разных языков.

I.

Первые систематические исследования субстратной (дорусской) топонимии лесной зоны Европейской России были в основном связаны с попытками преимущественно финских учёных (А. И. Шёгрэн [Sjögren 1861], М. А. Кастрен [Castrén 1862], Я. Калима [Kalima 1935; 1946] и др.) установить границы былого проживания финно-угорских, прежде всего – прибалтийско-финских народов¹. Соответственно, внимание исследователей было в основном направлено на северо-западные и северные области Европейской России и позитивные результаты их трудов связаны с выявлением ареалов прибалтийско-финской и отчасти – саамской топонимии. Несмотря на то, что эти авторы были первопроходцами и как правило стремились объяснять всю субстратную топонимию исходя из фактов современных прибалтийско-финских языков, им (в особенности – Я. Калиме) удалось выявить основные прибалтийско-финские (у М. А. Кастрена также – некоторые саамские) топоформанты и характерные апеллятивы, определить многие закономерности фонетического усвоения их в русском языке и в целом установить границы распространения прибалтийско-финской субстратной топонимии на северо-западе и севере Европейской России и наметить ареал саамских субстратных топонимов на Русском Севере. Однако, Центр Европейской России

¹ Данная статья была написана более пяти лет назад, вследствие чего здесь, к сожалению, не учтены многие интереснейшие топонимические работы последних лет (например: [Хелимсмкий 2006; Saarikivi 2006]), и прежде всего – эпохальная для исторической ономастики Восточной Европы, а в области финно-угорской ономастики, да и финно-угроведения в целом являющаяся, без сомнения, самым существенным исследованием последних десятилетий монография Александра Константиновича Матвеева [Матвеев 2001а; 2004]. Следует, однако, заметить, что выводы статьи в принципе согласуются с результатами упомянутых новейших исследований, а более ранние работы (и первая часть монографии) А. К. Матвеева послужили во многом основой для моих выводов.

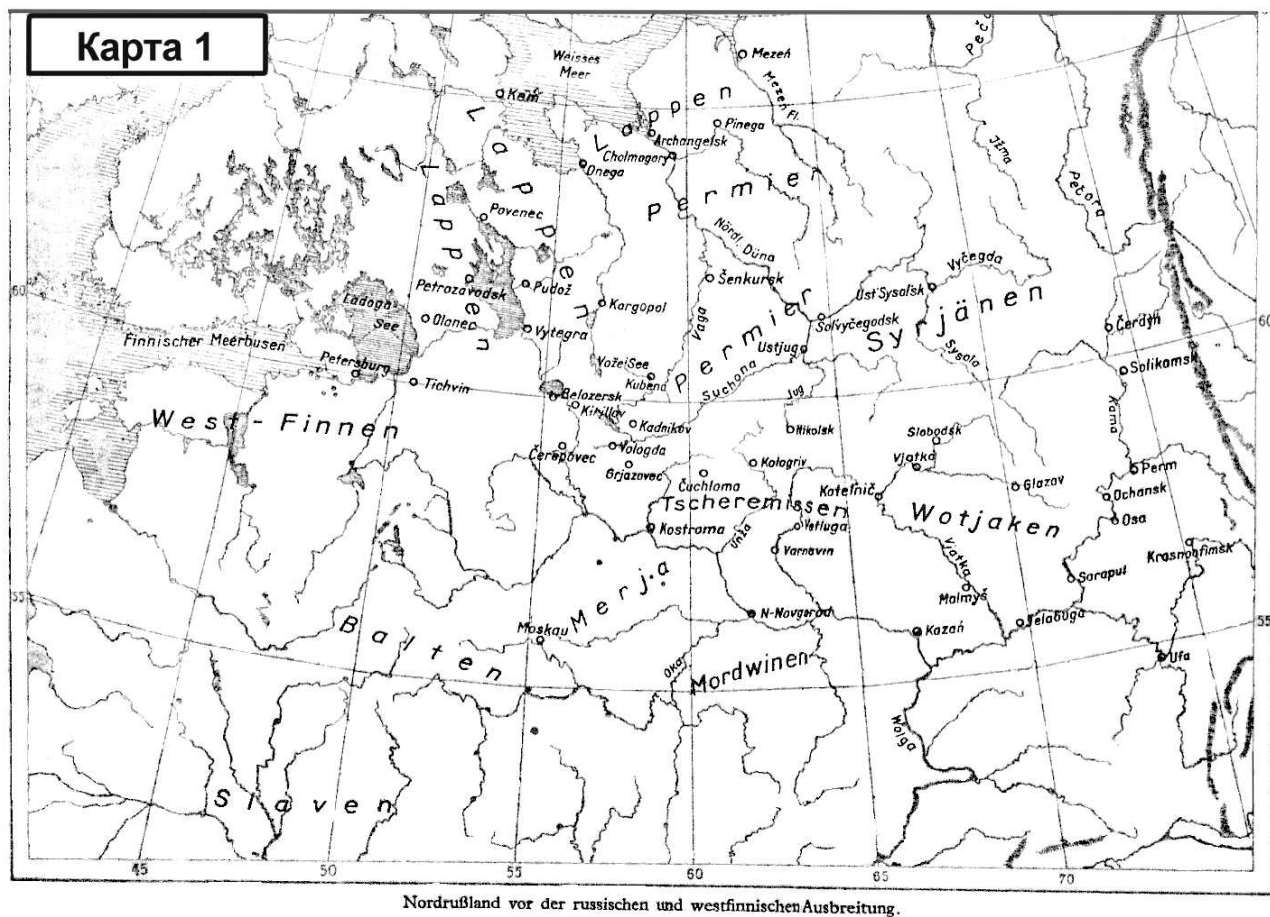
весьма мало был затронут в этих работах; кроме того, односторонняя направленность интересов финских исследователей не позволила им создать цельную картину дорусской субстратной топонимии не только Европейской России в целом, но даже и её северо-западных областей.

Также в конце XIX в. было положено начало другому «финно-угристическому» направлению исследования субстратной топонимии Европейской России: Д. П. Европеусом [Европеус 1874] интенсивно разрабатывалась идея об угорском происхождении древнейшего слоя субстратной топонимии. Методика работы данного автора, состоящая в произвольном подборе обско-угорских этимологий для субстратных топонимов была очевидно дилетантской даже для своего времени, и М. Фасмер совершенно справедливо оценил сочинение Д. П. Европеуса как «фантазии» [Vasmer 1934: 10]. Но именно эти фантазии лежат в основе существующего до сих пор направления поисков угорской и (прибавилась к угорской позднее и как правило вне всякой логики фигурирует вместе с ней) самодийской субстратной топонимии в Восточной Европе. При этом новейшие работы этого направления в принципе не отличаются от фантазий Д. П. Европеуса, и нет никакой необходимости разбирать их здесь, поскольку такой разбор проделан в [Напольских 2001] (там же см. литературу и историографию). Вся проделанная в этом направлении работа однозначно свидетельствует, что самодийской топонимии в Восточной Европе за пределами исторического расселения ненцев в тундровой зоне нет и быть не может (см. также [Матвеев 1964]). Что же касается угорской топонимии, то нельзя отрицать наличия пласта мансийских (но не угорских вообще!) топонимов в районах бывшего расселения манси в Прикамье и Предуралье, где *вогуличи* фиксируются и историческими источниками; возможны поиски поздних (I тыс. н. э.) топонимических следов пребывания древних венгров на их пути с западносибирской прародины на Дунай (Средний и Южный Урал, Башкирия, Среднее и Нижнее Поволжье), и этим перспективы поисков следов бывшего пребывания угроязычного населения в Восточной Европе, видимо, исчерпываются (см. также [Матвеев 1968]).

Комплексный анализ субстратной дорусской топонимии (преимущественно – гидронимии) всей лесной зоны Европейской России с привлечением данных прибалтийско-финских, саамского, поволжских финских, пермских, балтских, славянских, иранских языков на широком историко-филологическом фоне был проделан Максом Фасмером [Vasmer 1932; 1934; 1935; 1936; 1941]. Его работы содержат анализ огромного числа географических названий, анализируемых системно с выделением топонимических типов, базирующимся на анализе самих топонимов, без тенденциозного поиска следов определённых языков, с внимательным отношением к способам адаптации субстратной топонимии в русском языке и с использованием всех достижений предшественников. Поэтому как методика, так и в общем выводы М. Фасмера не утратили своего значения до сих пор. В общем виде они представлены двумя картами, показывающими распространение основных языков в Европейской России до начала славянской и прибалтийско-финской экспансии (т.е. в первые века н.э.): см. *рис. 1* из более ранней работы [Vasmer 1936], где ареал бывшего расселения пермян на Русском Севере ещё показан продвинутым на запад дальше, чем он реально фиксируется в топонимии (нет никаких оснований предполагать былое широкое расселение пермян западнее Северной Двины), и *рис. 2*, итоговую в топонимических штудиях М. Фасмера [Vasmer 1941].

Особый интерес представляет наблюдение М. Фасмера о том, что ареал топонимов, объяснимых на базе марийского языка частично перекрывает исторические районы обитания мери (прежде всего показательны названия озёр на *-Внгирь* – ср. мар. *eŋer* ‘река’) и вывод о вероятной близости мерянского и марийского языков [Vasmer 1935: 75] – идея, высказывавшаяся и ранее [Кузнецов 1910], но, в силу крайне слабой аргументации, в значительной мере дискредитированная уже с самого начала (см. [Попов 1965: 99-100]). Данный вывод в известной мере подтверждается новейшими исследованиями мерянской топонимии (см. ниже) и является безусловно более фундированным, нежели гипотеза О. Б. Ткаченко [Ткаченко 1985] о промежуточном положении мерянского между мордовским

и прибалтийско-финскими языками при большей близости к последним (слабость гипотезы О. Б. Ткаченко объясняется некритическим использованием для реконструкции мерянской лексики данных русских диалектов и арголических языков типа офеньского, в которых присутствует лексика самого разного происхождения, но меньше всего, видимо, мерянская).



Vasmer: Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. IV.

Рисунок 1. Карта М. Фасмера: северная часть Европейской России до славянской и прибалтийско-финской экспансии по данным топонимии [Vasmer 1936].

На *рис. 2* население обширных территорий Русского Севера показано М. Фасмером как “неиндоевропейцы” (*Nicht-Indogermanen*) – речь идёт о создателях топонимии на *-ma*, *-хта* / *-гда*, *-ошма*. Позднее многие из неясных топонимов Русского Севера были объяснены как происходящие от финских в широком смысле (т.е. не собственно прибалтийско-финских, но принадлежащих к западному финно-угорскому ареалу) языков [Матвеев 1964а: 74, 83], в последнее время называемых А. К. Матвеевым «севернофинскими» (см. ниже), но в общем оценка М. Фасмера звучит вполне корректно и сегодня: помимо того, что определение “неиндоевропейские” подходит и к «севернофинским» языкам, возможность отнесения некоторых из субстратных топонимических типов к языкам неизвестного происхождения остаётся реальной как на Русском Севере [Матвеев 1964а: 77-80], так и в более южных регионах – например, распространённые в Ярославском Поволжье топонимы на *-Vхта* / *-Vгда* (коррелирующие по звонкости-глухости) и сегодня не имеют внятных этимологий [Ahlquist 1992: 101; Шилов 2001: 16].

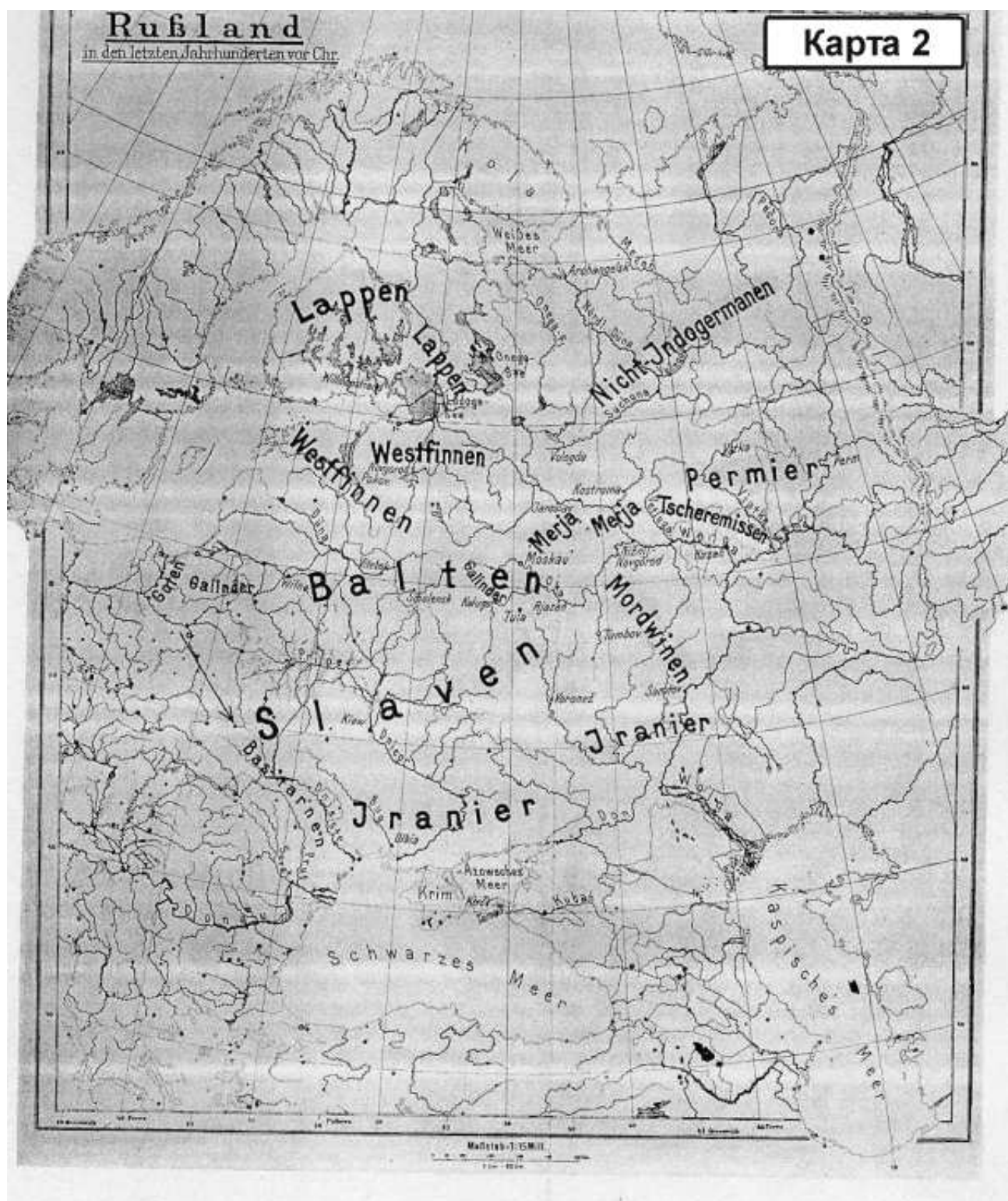


Рисунок 2. Карта М. Фасмера: Европейская Россия в последние века до н.э. по данным топонимии [Vasmer 1941].

Возможность происхождения субстратной топонимии Волго-Окского региона и Русского Севера от языков неизвестной (неуральской и неиндоевропейской) принадлежности была рассмотрена в статье Б. А. Серебrenникова [Серебrenников 1955] и затем использовалась как рабочая гипотеза в палеоисторических построениях [Третьяков 1958]. Хотя в принципе гипотеза П. Н. Третьякова о неизвестной (палеоевропейской)

языковой принадлежности создателей неолитических культур с ямочно-гребенчатой керамикой Центра Европейской России по ряду достаточно весомых причин может оцениваться как весьма предпочтительная (см. [Напольских 1990: 51-52; Напольских 1997]), нельзя не заметить, что предположения Б. Н. Серебренникова – не самый сильный аргумент в её пользу: усматриваемые им в субстратных гидронимах окончания *-ма*, *-га*, *-да*, *-жа* и др. собственно говоря топоформантами не являются и отчасти представляют собой произвольно выделенные фрагменты более сложных формантов [Матвеев 1964а], часть которых объясняется как мерянские, балтские и др., а в значительной мере (это особенно касается топонимов на *-га*, в связи со сходством этого окончания с сельк. *kj* ‘река’ весьма популярных у открывателей «самодийской» топонимии в Восточной Европе – см. выше) – возникли просто на русской почве [Попов 1965: 105-111; Яценко 1974: 96-97]. По сути дела, данная статья Б. Н. Серебренникова представляла собой шаг назад в исследовании субстратной топонимии, и её реальное значение исчерпывается констатацией того факта, что из современных финно-угорских языков значительная часть субстратных топонимов Центра и Севера Европейской России необъяснима.

Широкое распространение субстратных топонимов, объясняемых из саамского языка, на севере Европейской России до Коми на востоке и до Заволочья на юге, намеченное М. Фасмером (см. *рис. 1, 2*) также получило подтверждение в дальнейших исследованиях, причём субстратными оказываются условно называемые «саамскими» топонимы и по отношению к прибалтийско-финским, и, таким образом, выстраивается стратиграфия топонимических слоёв на Русском Севере: «саамский», прибалтийско-финский, русский [Матвеев 1964; 1979; Муллонен 1994: 116-122]. Появляется даже возможность судить об определённых отличиях «саамских» диалектов южного Прионежья и Заволочья, с одной стороны, и бассейнов Северной Двины и Мезени, с другой [Напольских 1995: 136]. Слово «саамские» взято здесь в кавычки, поскольку точнее было бы говорить о *парасаамских* или *древнесаамских* диалектах, так как, во-первых, понятно, что создатели субстратной топонимии Русского Севера едва ли были прямыми предками современных саамов Северной Фенноскандии, и, во-вторых, есть определённые факты, указывающие на более архаичное состояние этих диалектов по сравнению с собственно саамским языком [Муллонен 1994: 120-122; Saarikivi 2006: 169-234].

Исследование субстратной балтской гидронимии на территории Центра Европейской России, в верхнем течении Днепра и Волги, начатое ещё до М. Фасмера трудами К. Буги [Būga 1958] (работа 1913 г.), получило продолжение в работах В. Н. Топорова и О. Н. Трубачёва [Топоров, Трубачёв 1962; Топоров 1972; 1989] и других исследователей второй половины XX в. В результате можно считать общепринятым, что максимальное распространение гидронимов балтского происхождения на севере и востоке ограничивается приблизительно линией: северная граница Латвии – Псков – Торопец – Тверь – Москва – Калуга – Орёл – Курск – Чернобыль [Ванагас 1977] (см. *рис. 4*). Предполагается балтское происхождение некоторых названий и гораздо дальше на востоке – вплоть до низовьев Оки и верхнего течения Мокши [Трубе 1966; Смолицкая 1974: 62-64; Откупщиков 2001: 363-366]; критическое обсуждение проблемы балтской топонимии на исторических мордовских землях см. в [Мокшин 1991: 77-79], при этом предположения о широком распространении балтской субстратной топонимии к северу от обозначенной границы не подтверждаются [Поспелов 1965]. Анализ балтской субстратной гидронимии максимального ареала её распространения показывает достаточное языковое единство её создателей, с одной стороны, и – с другой стороны – географическое несовпадение и отличие её от более древней «древнеевропейской» (*alteuropäische* по Х. Краэ и Ю. Удольфу) – хотя безусловный интерес представляют наличие параллелей между балтской гидронимией и субстратными гидронимами Балкан и возможность объяснять некоторые важнейшие восточноевропейские гидронимы как результат славянской адаптации субстратных гидронимов «древнеевропейского» типа, например: *Ока* < **aquā* [Krahe 1954: 53, 108-111] (о

«древнеевропейской» гидронимии в Восточной Европе см. также [Schmid 1966]). Эти факты свидетельствуют скорее об адаптации балтами достаточно близких к ним в языковом отношении «древнеевропейских» языковых компонентов в Восточной Европе и, таким образом, об относительно позднем распространении носителей языков собственно балтского типа на обозначенных территориях: по крайней мере гораздо позднее распада индоевропейского языкового единства и древнеевропейской (германо-балто-славяно-иллиро-венетской) общности индоевропейских диалектов, возможно – в период, непосредственно предшествовавший началу славянской экспансии в Восточной Европе. Однако, слишком поздняя датировка широкого распространения балтских языков едва ли была бы верна, так как этноним **galind-* (*Galindia* – одна из земель Пруссии и её население *Galindi* у Петра из Дусбурга [ХЗП: 50], др.-рус. *Голадь* – народ на территории современной Московской области и др.), восходящего к балт. **gal-* ‘конец, край’ и обозначающего, видимо, окраинные балтские группы, фиксируется уже у Птолемея (II в. н.э.): рядом у него упомянуты *Γαλίινδαι και Σουδινοι* (эти же названия, *галинды* и *судины*, носили и два балтских племени в средневековой Пруссии!), жившие к востоку от *венедов* и *финнов*, между *венедами* и *аланами*. Следовательно, уже как минимум в начале нашей эры балты должны были достигнуть по крайней мере южных и юго-восточных пределов ареала субстратной балтской топонимии [Топоров 1977].

Что касается субстратной топонимии иранского происхождения, то, возможно, имеется некоторое количество иранских топонимов в верховьях Днепра и Дона [Топоров, Трубачёв 1962], но, в общем, вне пределов степной и лесостепной зоны не обнаружено каких-либо значительных их ареалов. Хотя, следует заметить, что тема поисков иранской топонимии в лесной зоне в значительной мере дискредитирована очень слабыми работами А. И. Соболевского (см. [Попов 1965: 20, 98-99]).

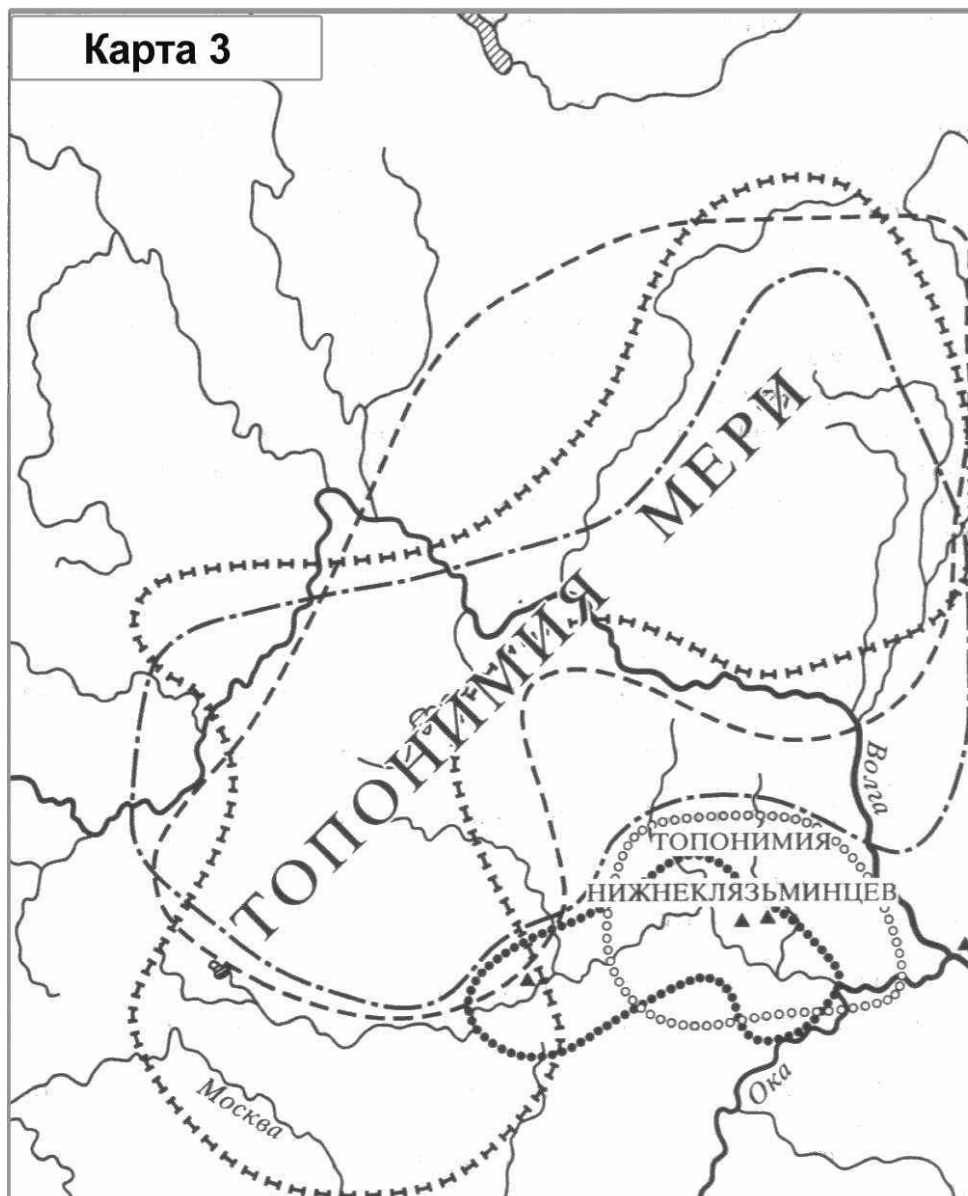
Одним из заметных недостатков работ М. Фасмера, как и многих других авторов, было использование недостаточно надёжных источников («Списки населённых мест Российской Империи», поздние карты), на которых названия фиксировались нередко с ошибками, не учитывались различия официальных и народных названий, русских названий и названий на туземных языках. Особенное внимание этим аспектам топонимического исследования уделял А. И. Попов (см. [Попов 1965] с очень хорошим введением в методику топонимических исследований и с литературой), работы которого, к сожалению, незаслуженно мало используются как топонимистами, так и специалистами других дисциплин.

Хороший обзор исследования топонимии Центра Европейской России содержится в работах В. В. Седова, прежде всего – в [Седов 1974]. Единственным их недостатком является стремление автора увязать распространение тех или иных топонимических типов с определённой археологической культурой (общностью), что едва ли целесообразно вообще (учитывая невозможность абсолютной хронологической привязки топонимических типов, непосредственно дорусское, т. е. весьма позднее возникновение большинства субстратных топонимических пластов и другие лингвистические трудности, с одной стороны, и отсутствие прямой корреляции между археологической культурой и этноязыковой общностью, с другой). Соответственно, многие из привязок В. В. Седова не всегда достаточно корректны: см., например, связь с создателями волосовской культуры топонимов на *-кса*, *-киа* (по [Поспелов 1970], на самом деле во многих случаях это – топонимы, содержащие основы *икса* / *икиа*, *вЕкса* / *вЕкиа* и *окса*, справедливо интерпретируемые как мерянские и как «севернофинские»: мар. *iksa* ‘протока, речка, вытекающая из озера, залив’, рус. (Кострома) *векса* ‘межозёрный проток’, ф. *oksa* ‘ветвь (= ответвление реки)’, ареал которых никак не совпадает с ареалом волосовской культуры [Шилов 1997: 6-7; 2001: 16-17; Матвеев 1996; Матвеев 2001а: 234-235]) и на *-н(ь)га*, якобы одного происхождения с названиями на *-юга* (по [Серебрянников 1966], на самом деле – формант, имеющий, судя по фонетическому составу основ [Матвеев 1964: 108-109], истоки совсем не в том же самом

языке, что *-юга* (прибалтийско-финского происхождения: ф. *joki* ‘река’ [Sjögren 1861: 511; Castrén 1862: 95; Vasmer 1934], отчасти – пермского и собственно русского [Матвеев 1968а: 33-34; Попов 1965: 105-111]) и тем более – с *-юг* (топоформант, по крайней мере, в значительной своей части имеющий пермское происхождение: коми *ju* ‘река’ < **ju* [Vasmer 1936; Матвеев 1964а: 74-75; 1968а], и имеющий, возможно, гетерогенные истоки на разных территориях; обстоятельную сводку о гипотезах его происхождения см. [Матвеев 2001а: 261-275]).

С возможностью относительно позднего возникновения субстратной топонимии вследствие вторичного расселения её создателей в средневековье связана интересная дискуссия на страницах «Вопросов языкознания» в 1996-2001 гг. поводом для которой стала предложенная А. К. Матвеевым гипотеза о мерянском происхождении очага субстратной топонимии в Заволочье, в бассейне р. Устья, сложившемся вследствие переселения мерянского населения в ходе русской колонизации Севера, возможно – в XIII в. [Матвеев 1996; 1998; 2001; Альквист 1997; 2000; 2000а; Шилов 1997; 2001].

Независимо от решения вопроса о мерянском происхождении устьинского очага (аргументы А. К. Матвеева, впрочем, представляются мало поколебленными возражениями А. Альквист), принципиальное значение имеют ещё раз подтверждённые в ходе дискуссии наблюдения о достаточно широком распространении на востоке (вплоть до западных районов сегодняшней Республики Коми) и на юге (вплоть, возможно, до севера Костромской области) субстратной топонимии «саамского» типа, о наличии в топонимии Заволочья, между саамским и мерянским ареалами, следов языка *заволочской чуди* – языка близкого к прибалтийско-финскому типу, но отличавшегося от собственно прибалтийско-финских (см. также выше), «севернофинского» по А. К. Матвееву [Матвеев 1996; 2001а: 305-308; Шилов 1997: 16-19; Хелимский 2006] и, соответственно, – реконструируемая последовательность топонимических пластов на севере и северо-западе Европейской России (от поздних к ранним): русский, собственно прибалтийско-финский, «севернофинский» + «саамский» (или протосаамский – см. выше) + пермский (на северо-востоке) [Матвеев 1964а: 70-71, 83; 1996; Шилов 1997: 3-4]. Вторым, и особенно важным для нашей темы результатом данной дискуссии явилось уточнение границ распространения мерянской топонимии и в целом границ исторического расселения мери, язык которой (или, по крайней мере, язык восточной части мерян: есть некоторые факты, позволяющие различать западный и восточный ареалы в мерянской топонимии) среди всех живых финно-угорских языков вероятно наиболее близок к марийскому (таким образом на новом уровне подтверждена гипотеза М. Фасмера – см. выше) – и возможность вычленения особого ареала субстратной топонимии в левобережье нижней Оки и в бассейне Клязьмы – вероятно, первая сколько-нибудь конкретная информация о языке летописной *муромы*, который оказывается (судя, естественно, только по нескольким топоформантам) близким к мерянскому [Матвеев 2001] (см. *рис. 3*). Для уточнения границ мерянской топонимии, возможно – относительной хронологии возникновения пластов субстратной топонимии – и для реконструкции взаимоотношений между исчезнувшими языками Центра Европейской России имеет значение наблюдение А. Л. Шилова о том, что на юго-западе (в районе собственно г. Москвы) ареал мерянской топонимии встречается с субстратными названиями на *голядь* [Шилов 2001: 25].



Карта 4. Топонимические ареалы на территории ИМЗ (сводная карта).
 ■■■■ Этнотопонимы, производные от *меря*.
 ---- Топонимы с основой *яхр*.
 — — Ойконимы на *бал, бол*.
 ○○○○ Гидронимы на *Vх*.
 ●●●● Гидронимы с формантом *(V)хр(V)* в нижнем и среднем течении Клязьмы.
 ▲ Лимнонимы с основой *юхр*.

Рисунок 3. Карта А. К. Матвеева: топонимические ареалы на территории исторической мерянской земли [Матвеев 2001: 57].

Несмотря на то, что в исследовании субстратной топонимии Центра Европейской России ещё следует ожидать весьма значительных подвижек, сегодня можно представить картину расселения основных языковых групп (а в некоторых случаях – и с указанием племенных, этнических их названий) перед началом прибалтийско-финской (на севере и в Фенноскандии) и славянской экспансии, т. е. ориентировочно – в первые века н. э. – см. *рис. 4*. Данная карта в общем совпадает с более чем полувековой давности картами М. Фасмера, и это позволяет надеяться на то, что картина, на ней представленная, в основных своих чертах

не будет подвергнута существенным исправлениям и в будущем и может, таким образом, служить отправной точкой для дальнейших этноисторических построений.



Рисунок 4. Основные этноязыковые общности Европейской России до начала славянской и прибалтийско-финской экспансии по данным топонимии (первые века н. э.). 1 – примерная восточная граница субстратной балтской топонимии; 2 – индоевропейские языковые и племенные группы; 3 – уральские (финно-угорские) языковые и племенные группы; 4 – основные направления миграций во второй половине I – начале II тыс. н.э., фиксируемые в топонимии (сост. автором).

II.

Итак, исторически с раннего средневековья на территории Центра Европейской России были распространены языки двух языковых семей: индоевропейской (славянские, балтские, в более древние эпохи можно предполагать проникновение каких-то арийских, в особенности – иранских групп) и уральской (точнее – финно-угорской группы уральской семьи: мерянский, мордовские, марийский, на северо-востоке региона – прибалтийско-

финские и «севернофинские», на севере – (пара)саамские, на северо-востоке – пермские; возможно также, что в домоногольское время по крайней мере на Средней Волге сохранялись группы, говорившие на древневенгерских диалектах, оказавшиеся здесь в I тыс. н. э. в ходе миграций предков венгров с их западносибирской прародины на Дунай). Присутствие в Среднем Поволжье тюрков едва ли может быть датировано временем ранее VIII в. н.э. (приход с юга болгар), но даже и в конце I – начале II тыс. н.э. собственно на рассматриваемой территории за пределами Волжской Булгарии и степной-лесостепной зоны сколько-нибудь значительных тюркских групп по-видимому не было. Естественно, нельзя исключать возможности присутствия бытования здесь и языков неизвестной принадлежности.

Для интересующего нас периода (I тыс. до н.э.) из названных групп в Центре Европейской России едва ли присутствовали славяне (нет никаких оснований предполагать начало собственно славянской миграции с территории компактной славянской прародины, находившейся в любом случае гораздо западнее рассматриваемого региона, до эпохи готской активности в Восточной Европе); безусловно здесь не было ни тюрков, ни венгров. Границы максимального расселения предков пермских народов также никогда не простирались на запад далее низовьев Камы (по этому поводу, правда, также существуют особые мнения местных авторов, разбирать которые я не вижу необходимости: так сказать «методика» этих исследователей находится на том же уровне, что и у искателей угро-самодийской топонимики в Европе (см. выше), да и фамилии сочинителей чаще всего те же самые). Таким образом, из известных сегодня языковых групп в I тыс. до н.э. на территории Центра Европейской России можно с большей или меньшей степенью вероятности предполагать присутствие балтов (при этом речь идёт не о собственно восточнобалтийских языках – литовском и латышском – и не о древнепрусском языке, а о не зафиксированных документально и известных лишь по топо- и отчасти по этнонимике периферийных языках балтского ареала) и носителей западных финно-угорских языков (языковых предков прибалтийских финнов, мери, мордвы и марийцев). Соседи названных групп на юге (в степной и лесостепной зоне) могли говорить на восточноиранских языках (к этому же языковому ареалу относился и язык-предок современного осетинского языка), на западе (Прибалтика, Белоруссия) – на индоевропейских языках балто-славянского ареала и (на берегах Балтики) на германских языках, на севере (от Ладоги до Северной Двины) можно предполагать присутствие древнесаамского (или, в наиболее осторожно формулировке, парасаамского) языкового элемента, на востоке (в Прикамье) население, видимо, говорило на диалектах пермского праязыка.

Эта весьма общая и приблизительная картина представляет собой во многом несколько скорректированный данными топонимики результат простой экстраполяции средневековой (а то и современной) лингвистической карты в прошлое и ни в коей мере не претендует на историческую достоверность; она необходима лишь как стартовая площадка для начала реального исследования. Первым – и важнейшим с точки зрения методологии палеоисторических исследований вообще – её недостатком является неучёт того обстоятельства, что число сохранившихся до времени появления письменных источников языков и языковых групп безусловно на порядок меньше, чем число языков бесследно исчезнувших в ходе исторического развития (достаточно, например, допустить, что имя *мери* могло не быть упомянуто в древнерусских источниках, и с нашей карты пропало бы важнейшее звено).

В этой связи весьма любопытное наблюдение было сделано Робертом Аустерлицем, который сравнил количество аборигенных языковых семей на единицу площади в Америке и в Старом Свете – оказалось, что в Америке «плотность» языковых семей примерно в четыре раза выше [Austerlitz 1980]. Объяснение этого лежит, думается, отнюдь не только и не столько в области методологических проблем науки о языке (объективные трудности сравнения америндских языков в связи с отсутствием древних письменных источников), но связано с реальными различиями хода этноисторических

процессов в Северной Америке и в Северной Евразии в течение I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.: в лесной зоне Северной Америки не было того скачка в развития производительных сил и общественных отношений (массовое распространение металлических орудий труда и оружия, скотоводства, в особенности – коневодства, и земледелия и т. д.), который я по аналогии с южной неолитической революцией VII-V тыс. до н.э. предложил называть *металлической революцией* [Напольских 1997а: 195], – не говоря уже о последующих бурных событиях эпохи Великого переселения народов. Связанная с указанными изменениями интенсификация этнических процессов непременно должна была привести к ассимиляции значительного числа древних этноязыковых групп, в том числе – и к полному исчезновению целых языковых семей, результат чего и был зафиксирован подсчётами Р. Аустерлитца. Естественный вывод: при реконструкции этнических процессов I тыс. до н.э. и более древних эпох необходимо принимать во внимание два обстоятельства: во-первых, в этих процессах помимо известных нам языковых компонентов (для Центра Европейской России – балто-славянского, германского, иранского, прибалтийско-финского, древнесаамского, мордовского, мерянского, марийского и пермского) принимали участие и неизвестные (как принадлежавшие к индоевропейской и уральской семьям, так и не принадлежавшие к ним) группы. Во-вторых, следует осознать печальную неизбежность того, что весьма многие, в том числе и важнейшие аспекты и эпизоды дописьменной этнической истории никогда (по крайней мере до изобретения машины времени) не будут нами раскрыты – и соответственно формулировать исследовательские задачи.

Тем не менее, изучение отдельных языков позволяет в ряде случаев выявить в них следы субстрата (т. е. наследие языка, на котором говорили физические предки данного народа до перехода их на какой-либо финно-угорский или индоевропейский язык вследствие ассимиляции), позволяющие в какой-то степени восстановить черты звукового и морфологического строя, и, что представляет особый интерес для историка, – лексику исчезнувшего древнего языка. Среди языков Восточной Европы наиболее интересен в этом плане саамский язык, в котором, исходя первоначально из экстралингвистических соображений (резкие отличия антропологического типа и традиционной культуры саамов от их ближайших родичей по языку, прибалтийских финнов), давно предполагалось существование такого «*протосаамского*» субстрата, что нашло себе подтверждение в наличии в саамском языке множества слов, не имеющих параллелей в других финно-угорских языках (см. ниже). В 40-50-х гг. весьма популярна была гипотеза о самодийской принадлежности протосаамского языка, базирующаяся на реальном наличии параллелей в лексике саамского и самодийских языков [Toivonen 1949; Sebestyén 1953] и находящая порою отражение в работах археологов до сих пор. Однако анализ этих параллелей и нефинноугорской лексики саамского языка в целом уже пятьдесят лет назад показывал, что говорить о вхождении в состав саамов самодийского лингвистического компонента нет оснований [Collinder 1954], этот же вывод был подтверждён и позднее [Lehtiranta 1986], точка же была поставлена в прекрасном обзоре Е. А. Хелимского, который оотверг большую часть предлагавшихся ранее саамско-самодийских параллелей как несостоятельные, относительно другой группы показал, что речь идёт о прауральских основах, сохранившихся в саамском и в самодийских языках (с параллелями часто в других группах уральских языков), и лишь десять слов счёл возможным рассматривать как поздние заимствования из самодийских (обычно – непосредственно ненецкого) в саамский или наоборот [Хелимский 2000: 202-217].

Гипотеза о происхождении значительного пласта лексики саамского языка от неизвестного (неуральского и неиндоевропейского – *палеоевропейского*) языка-субстрата высказывалась ещё в XIX в. [Wiklund 1896: 10-12], а реально аргументирована была Терхо Итконеном, который привёл список из почти 200 саамских слов, не имеющих параллелей в других финно-угорских языках и необъяснимых как заимствования из известных языков [Itkonen T. 1984: 165-167]. Несмотря на то, что ряд слов из этого списка позднее получили финно-угорскую этимологию или были объяснены как германизмы [Sköld 1961: 48-49],

основной вывод – о наличии в саамском мощного субстратного лексического пласта неизвестного происхождения – остается несомненным [Sköld 1961: 50]. Попытка опровергнуть этот вывод с помощью математических методов привела, против горячего желания её автора (судя по фактическим результатам), к его подтверждению [Lehtiranta 1986], а посылка о том, что субстратная лексика непременно должна отличаться от исконной фонотактически [Lehtiranta 1986: 250] выглядит по меньшей мере странно (заметим, что некоторые фонетические особенности саамского языка, например – «нефинноугорская» возможность стечений двойных согласных в начале слова объяснялись как результат воздействия неизвестного субстрата [Qvigstad 1945: 211]).

Состав субстратной «протосаамской» лексики показывает, что из языка палеоевропейцев после их перехода на финно-угорскую речь в саамский вошли термины, обозначающие специфические северные и приморские природно-хозяйственные реалии (названия элементов ландшафта, видов снега, животных, типов жилища и предметов материальной культуры) [Itkonen T. 1984: 167] (дополнительный список субстратных протосаамских слов для кильдинского диалекта см. также в [Керт 1971: 8]). Особый интерес представляют слова базовой лексики, обычно очень редко заимствуемые из другого языка, например:

| значение | общесаамская основа (по [Lehtiranta 1989]) | соответствующее финское слово | финно-угорская этимология (по [UEW]) |
|------------|---|----------------------------------|---|
| ‘вода’ | * <i>ćācē</i> | <i>vesi</i> | ПУ * <i>wete</i> |
| ‘земля’ | * <i>ēnet</i> | <i>maa</i> | ПФУ * <i>maye</i> |
| ‘дерево’ | * <i>mōre</i> | <i>puu</i> | ПУ * <i>puwe</i> |
| ‘камень’ | * <i>kēδkē</i> | <i>kivi</i> | ПФУ * <i>kiwe</i> |
| ‘ветер’ | * <i>pēŋke</i> | <i>tuuli</i> | ф.-п. * <i>tule</i> |
| ‘тёплый’ | * <i>lēŋke</i> | <i>lämmi</i> | ф.-в. * <i>lämpz</i> |
| ‘холодный’ | * <i>ćōckē</i> | <i>kylmä</i> | ф.-п. * <i>kilmä</i> |

Большое количество в базовой общесаамской лексике слов нефинно-угорского происхождения, заменивших старые финно-угорские основы не имеет аналогов в финно-угорских языках и служит основным аргументом в пользу гипотезы о протосаамском субстрате. Эти слова базовой лексики могли бы помочь установить языковую принадлежность палеоевропейского протосаамского субстрата, но, к сожалению, на сегодня не удаётся обосновать ни одной гипотезы о связи его к какой-либо известной языковой семьей. По-видимому, речь идёт о языке, не имеющем живых «родственников», можно только гадать о возможности связи его с другими северными палеоевропейскими языками, например с пиктским [Напольских 1997: 206] или с «языком геминат», субстратные следы которого отмечены в германских, кельтских, балтских, западных финно-угорских языках [Schrijver 2001].

Для нашего обзора гипотеза палеоевропейского субстрата в саамском имеет и принципиальное методологическое значение: несмотря на то, что в волжско-финских языках столь явных следов подобного субстрата до сих пор не обнаружено (ср., однако, например не имеющее финно-угорских и индоевропейских параллелей мар. *eŋer* ‘река’ и топоформант *-енгарь / -ингирь* в мерянской субстратной гидронимии), следует принимать во внимание возможность присутствия палеоевропейского языкового компонента не только на севере, но и в Центре европейской России и – следовательно – тем более считаться с этой возможностью для I тыс. до н. э.

Таким образом, помимо названных выше индоевропейских и финно-угорских групп на территории Центра Европейской России в I тыс. до н. э. следует предполагать присутствие носителей языков не оставивших живых «потомков»: как палеоевропейских

(неизвестной принадлежности), так и *параиндоевропейских* и *парауральских* (т. е. принадлежавших к известным семьям, но ассимилированных и не имеющих прямого продолжения в живых языках соответствующих семей – см. [Напольских 1997а: 113]; пример такого парауральского языка, о котором благодаря в основном топонимии мы имеем некоторую информацию – мерянский). Этот чисто теоретический, казалось бы, вывод имеет существенное практическое значение: с его учётом попытки прямой привязки археологических культур к древним языковым общностям по принципу «одна культура – один (пра)язык» становятся бессмысленными.

Из известных языковых общностей основной для I тыс. до н. э. в Центре Европейской России следует признать финно-угорскую: как бы не решалась проблема индоевропейской прародины, применительно к рассматриваемой территории следует говорить именно о достаточно поздней экспансии балтоязычного населения извне и скорее всего – уже в финноязычную среду (см. выше, в особенности, например – вывод в [Агеева 1974: 111]), тогда как время появления / сложения в Волго-Окском регионе финно-угорского населения даже при признании единственной удовлетворяющей всему комплексу языковых фактов гипотезы о западносибирской прародине уральцев во всяком случае определяется не позже середины II тыс. до н. э. [Напольских 1990; 1997а: 128-140, 163-167, 197-198; Косарев, Кузьминых 2000: 393-395].

Родословное древо финно-угорских языков представлено на *рис. 5*. Используя родословное древо как необходимую схему, представляющую *результаты* исторического развития языков – степень расхождения и близости их друг с другом, необходимо иметь в виду, что эта схема ни в коей мере не может рассматриваться как *модель* реальных исторических процессов, то есть – нельзя сводить процессы финно-угорской предыстории к цепочке последовательного дробления праязыков. Именно такая упрощённая, точнее – ошибочная трактовка, вступая в противоречие с очевидными фактами попарной близости уральских языков (см. примеры построения различных «древ» в зависимости от того, какой язык принимается за точку отсчёта [Хелимский 1982: 12-13]) приводит к желанию “свалить родословное древо” либо отказавшись от него, либо заменив его другими схемами (в свою очередь имеющими те же недостатки) – см., например: [Häkkinen 1984; Pusztay 1995; Salminen 2001] – исследователи в данном случае путают методический приём с исторической реконструкцией, см. при этом хороший обзор истории концепции родословного древа языков вообще и в уралоистике в частности в [Sutrop 2000].

Основное отличие схемы на *рис. 5* от традиционных, которые можно найти в различных изданиях, состоит, во-первых, в попытке показать различия реконструируемых праязыковых состояний: идёт ли речь об относительно едином праязыке или об общности контактирующих родственных языков. В первом случае для праязыкового состояния помимо общей для языков данной группы лексики достаточно надёжно реконструируются общие инновации в фонетическом развитии и в морфонологии, достаточные для постулирования существования в прошлом единого языкового организма в течение некоторого исторически релевантного периода; во-втором – речь идёт в основном о лексических параллелях, инновации в фонетике и морфологии если и выявляются, то немногочисленны и могут быть интерпретируемы как наследие (продолжение тенденций развития) более древней праязыковой стадии и / или как результат сложения общих черт в рамках языкового союза, точнее – ареально-генетических взаимоотношений в терминологии Е. А. Хелимского [Хелимский 1982: 24-25]. Соответственно различны будут и исторические импликации лингвистических выводов: за единым языком должна стоять относительно единая этнокультурная единица, за языковым союзом – несколько контактирующих единиц.

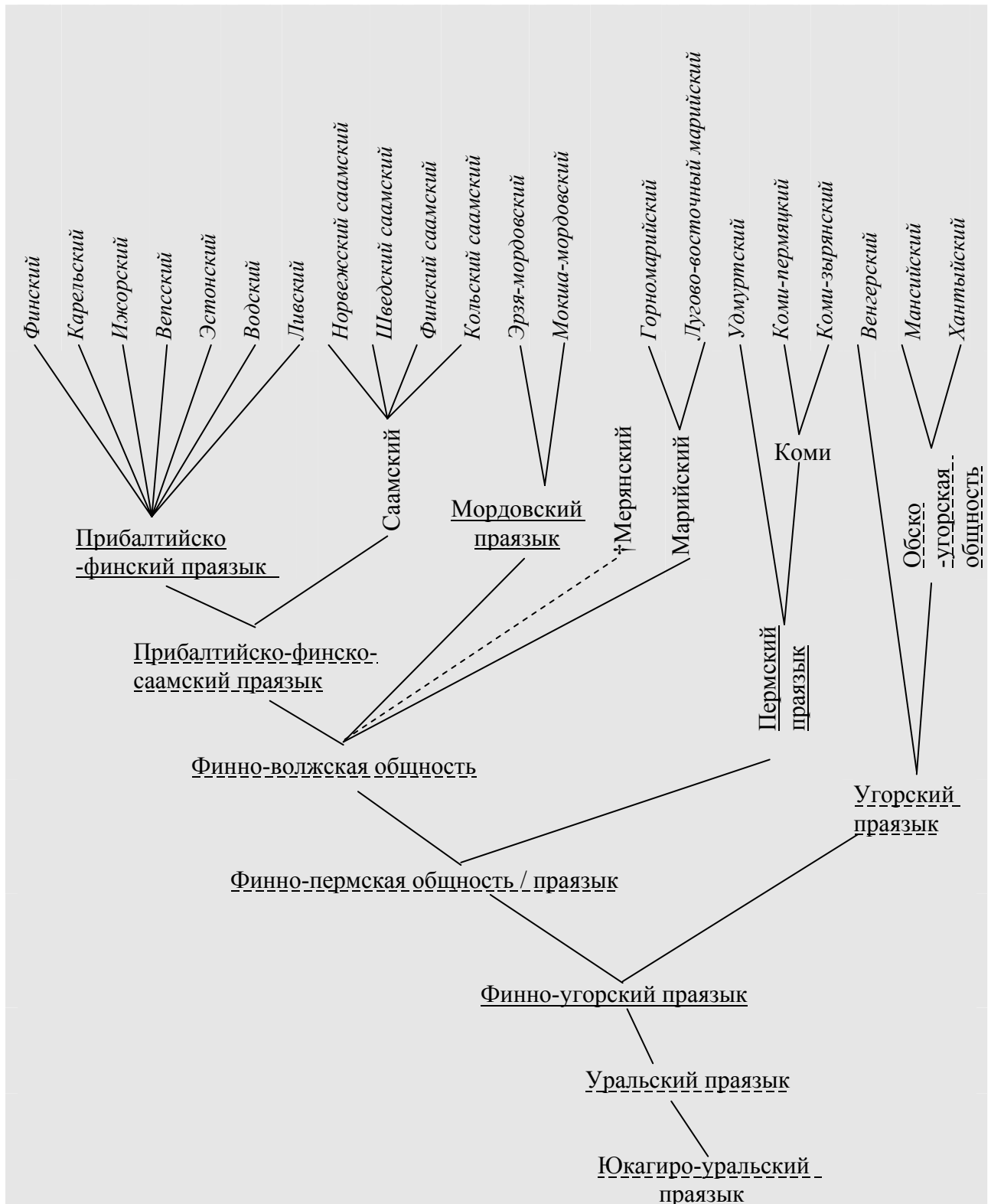


Рисунок 5. Родословное древо финно-угорских языков (самодийские и юкагирский не показаны). Вверху (курсивом) – современные литературные языки (хантыйский и мансийский показаны без деления на диалекты / языки с письменной нормой). Сплошным подчёркиванием показаны реконструируемые праязыковые общности, для которых можно предполагать достаточно длительное существование относительно единого праязыка. Пунктирным подчёркиванием – общности, которые представляли собой скорее ряд тесно контактировавших родственных языков. Знак † обозначает мёртвый язык.

Второе отличие схемы на *рис. 5* от традиционных – отсутствие волжской (прамарийско-мордовского) праязыковой стадии. Вопрос о правомерности выделения волжского праязыка дискутируется в уралоистике давно, и в конечном итоге скептический взгляд, основанный на слишком малом числе марийско-мордовских сепаратных параллелей, видимо, победил силу исторической инерции. Если быть последовательным, то следовало бы, видимо, говорить о прибалтийско-финско-саамско-мордовской общности и отделять от неё марийский как самостоятельную ветвь финно-пермского: мордовские языки обнаруживают безусловно большее количество сепаратных лексических сходжений и общих черт в морфологии с прибалтийско-финскими, чем с марийским (см. обзор проблемы в [Берецки 1974; Хелимский 1982: 17-18]), но для столь радикальной перекройки финно-угорского родословного древа необходимо время и специальная работа. О финно-волжской общности см. также ниже.

В-третьих, наконец, я позволил себе поместить в схеме на *рис. 5* мерянский язык как ветвь финно-волжской общности близкую хотя бы территориально к марийскому – см. выше данные топонимии, хотя, безусловно, наши фрагментарные знания о мерянском языке позволяют определять его место в финно-угорской группе лишь весьма приблизительно.

Датировки распада финно-угорских праязыков базируются прежде всего на соотношении с тем или иным праязыком определённого слоя индоевропейских (арийских, иранских, балтских, германских, славянских) заимствований. При этом необходимо понимать условность данного метода: во-первых, хронологическая шкала развития, например, иранских языков степного населения Евразии в свою очередь достаточно приблизительно, она базируется на анализе состояния древних письменных арийских языков (древнеиндийского, древнеперсидского, авестийского, согдийского, хотаносакского и т. д.) и общих, основанных только на исследовательском опыте и чутье оценок времени, необходимого для достижения той или иной степени расхождения языков, сложения инноваций и т. д. Во-вторых, стратификация, например, арийских заимствований в финно-угорских языках (соотнесение того или иного слова с определённым праязыком, т. е. с определённым периодом) также зачастую бывает неоднозначна: например, если ППерм **sur* ‘пиво’ традиционно считается старым, допермским заимствованием из очень раннего арийского диалекта (по причине сохранения индоевропейского **s*, переходящего в иранских языках в *h*: др.-инд. *surā* ‘опьяняющий напиток’ при ав. *hurā-* ‘тж’) [Rédei 1986: 76-77], хотя оно имеется только в пермских языках (то есть, в оценке времени заимствования фонетический критерий превалирует над территориальным), что мешает относить к тому же древнему слою, скажем, пермско-марийское **verkz* ‘почка (орган)’ (ав. *veredka*, др.-инд. *vr̥kka-* ‘тж’) [Rédei 1986: 79-80]? Поскольку слово имеет неспецифический облик, фонетический принцип в данном случае отступает на второй план, и главным становится ограниченное распространение корня в финно-угорских языках, но само по себе такое варьирование подходов вызывает определённые сомнения.

Наконец, в классических работах по этой проблеме [Jacobson 1922; Joki 1973; Rédei 1986] практически не учитывается фактор «языка X» – какого-то *параарийского* (о термине см. выше) языка, который, принадлежа к арийской (индо-ирано-нуристанской группе), обладал вместе с тем некоторыми особенностями, отличавшими его как от иранских (например, сохранение древнего **s*), так и, возможно, от других арийских языков, но был распространён в степной зоне Евразии и контактировал с уральскими языками. В реконструированном прафинно-угорском лексиконе имеется не менее двух десятков арийских заимствований. Причём во многих случаях ПИЕ краткие **o* и **e*, слившиеся уже в праарийском в **a* отражаются как соответственно ПФУ **o* и **e*, например:

– ПФУ **mekše* ‘пчела’ ← ар. **mekša-* > **makša-*: др.-инд. *makša-*;

– ПФУ **orpa(sz)* ‘сирота’ ← ар. **orbha-* > **arbha-*: др.-инд. *arbha-* [Rédei 1986: 49-

С другой стороны, в ряде корней ПИЕ $*o / *e > ar. *a$ отражено уже как ПФУ $*a$, но при этом ар. $*ś$ и $*s$ ($>$ индоар. $*ś$ и $*s$; $>$ иран. $*s$ и $*h$ соответственно) отражены как ПФУ $*ś$ и $*s$ (то есть – как в индоарийском или в праарийском, но не как в праиранском), например:

– ПФУ $*asr̥z$ ‘господин, богач’ ← ар.: др.-инд. $ásura-$ ‘божество’ при ав. $ahurō$ ‘господин’;

– ПФУ $*śata$ ‘сто’ ← ар.: др.-инд. $śatá-$ при ав. $satəm$ ‘тж’ [Rédei 1986: 45-59].

Обычно эти факты интерпретируются как свидетельства того, что финно-угорский праязык имел контакты уже с ранними арийскими (доиранскими) диалектами, в которых ещё не произошёл переход ПИЕ $*o / *e > ar. *a$, и эти контакты продолжались позже, уже в собственно праарийскую (индоиранскую) эпоху, когда данный (общеарийский) переход уже завершился, но ещё сохранялись старые ар. $*ś$ и $*s$ (до перехода в иран. $*s$ и $*h$) [Rédei 1986: 22-25; Joki 1973: 362-365; Harmatta 1977: 170-175]. Такая трактовка подразумевает, однако, убеждённость в том, что носители финно-угорских праязыков могли контактировать только с прямыми языковыми предками *иранцев* в последовательности: праиндоевропейцы – праарии – (пра)иранцы, исключаящую как возможность непосредственных контактов финно-угров с носителями *индоарийских* языков, так и бывшее существование в степях и лесостепях Евразии параарийцев (см. выше). Эта убеждённость в некоторых случаях выражена и эксплицитно [Jacobsohn 1922:184-222; Joki 1973:364], но без какой-либо аргументации. С другой стороны, значительная часть случаев отражения, например, ар. $*a$ как ПФУ $*o$ (по крайней мере в анлауте) может быть объяснена как чисто комбинаторные явления, то есть аргумент особой древности арийский заимствований с $*a$ отражённым как ПФУ $*o$ по сравнению с заимствованиями, в которых $*a$ отражено как ПФУ $*a$ вообще может быть подвергнут сомнению [Лушникова 1990: 5-6].

Важнейшим дополнительным аргументом, свидетельствующим о том, что арийские заимствования в финно-угорских языках, трактуемые традиционно на основании их «доарийского» фонетического облика как древние происходят не из какого-то «раннеарийского» праязыка, а именно из особого неиранского параарийского диалекта, являются термины земледелия и скотоводства в финно-пермских языках, которые могли быть заимствованы из арийского источника не ранее начала II тыс. до н.э., когда производящее хозяйство начинает реально распространяться в лесной зоне Восточной Европы (на их позднее происхождение может косвенно указывать и отсутствие угорских параллелей):

– ф.-в. $*utare$ ‘вымя’ ← ар.: др.-инд. $ūdhar-$ ‘вымя’ (в иранских языках вообще не зафиксировано!);

– ф.-п. $*tarna$ ‘трава, сено’ ← ар.: др.-инд. $tṛṇa-$ ‘трава, солома’;

– пр.-ф. $*terne$ ‘молозиво’ ← ар.: др.-инд. $tarṇa-$ ‘телёнок’;

– ф.-п. $*śuka$ ‘зерно, мякина’ ← ар.: др.-инд. $śūka-$ ‘зерно’;

– ППерм $*sur$ ‘пиво’ ← ар.: др.-инд. $surā$ ‘алкогольный напиток’ [Rédei 1986: 59-61, 76-77].

Поэтому были предложены альтернативные объяснения происхождения указанных арийских заимствований в финно-угорских языках: из индоарийских диалектов, некогда распространённых также и на севере арийского ареала (в степной зоне) [Абаев 1972: 28-29], либо из языка *параариев* – четвёртой арийской группы, исчезнувшей в I тыс. до н.э. [Хелимский 2000: 507-510]. Если при этом допустить, что *все* арийские заимствования в финно-угорских языках восходят к такому источнику, то традиционная датировка распада прафинно-угорского единства третьим тысячелетием до н.э. оказывается ничем не аргументированной.

Тем не менее, такого предположения до сих пор никем не сделано, и традиционно принятой в финно-угроведении остаётся точка зрения о том, что распад финно-угорского

праязыка произошёл после распада праиндоевропейского, в период самостоятельного развития языков арийской ветви, но до сложения собственно иранских языковых форм, зафиксированных в древнеперсидских и авестийских памятниках. В абсолютных датах – между концом IV и серединой II тыс. до н.э.

Важно, что есть другой аргумент, позволяющий отнести распад прафинно-угорской общности ко времени до начала II тыс. до н. э. – до того как в лесной зоне Восточной Европы и Западной Сибири повсеместно распространились развитая металлообработка и производящее хозяйство, поскольку анализ реконструируемой прафинно-угорской лексики не даёт возможности говорить о наличии в культуре носителей праязыка этих явлений (см. разбор проблемы в [Напольских 1997а: 121-124]). Таким образом, в I тыс. до н. э. финно-угорский праязык в любом случае уже давно не существовал.

Дополнительным способом датирования праязыковых распадов является метод *глоттохронологии*, предложенный Морисом Сводешем и базирующийся на идее о том, что замена слов базовой лексики в составленных им диагностических списках (названия частей тела, основных природных объектов и т. п.) происходит в языках мира примерно с одинаковой скоростью: проанализировав разные языки М. Сводеш предположил, что из слов его стословного списка за тысячу лет в среднем заменяется 14%, и, соответственно, вывел формулу вычисления времени расхождения двух языков:

$$t = \lg C : 2 \lg r$$

(C – доля общей лексики в двух языках в формате $0,xx$, где xx – процент совпадений; r – коэффициент сохранности слов на тысячу лет, величина r для стословного списка = 0,86) [Сводеш 1960].

Метод глоттохронологии признан отнюдь не всеми лингвистами. Более того, наиболее последовательные его сторонники практически полностью дискредитировали его, пытаясь усовершенствовать: во-первых, было предложено исключать из диагностического списка для какого-либо языка все заимствования [Старостин 1989] – естественно, такое предложение автоматически лишает подсчёты всякого смысла, так как нормальный исследователь не может быть уверенным, что *все* заимствования исключены (см. всё тот же фактор «языка X»). Во-вторых, была предложена изменённая формула [Старостин, Бурлак 2001: 85], результаты подсчётов по которой уводят распад, например, пермского праязыка в середину I тыс. до н. э. – в то время как в нём имеются болгарские (не ранее VIII в. н. э.) и даже монгольские (не ранее XIII в. н. э.) заимствования! Несмотря на эти «улучшения» и законный скепсис многих лингвистов, следует признать, что подсчёты по традиционной (М. Сводеша) формуле дают – по крайней мере для уральских языков – результаты вполне согласующиеся с получаемыми с помощью других методов (например, для пермского праязыка – конец X – начало XII вв.) [Raun 1956; Хелимский 1982: 11-15, 38-39]. Поэтому метод М. Сводеша может, видимо, употребляться не только как *лексикостатистика* – средство измерения «расстояний» между языками, но и как *глоттохронология* – метод датировки древних процессов языкового распада путём транспонирования этих расстояний на временную шкалу. Последняя и наиболее интересная попытка такого рода проделана в [Taagera 1994], и результаты её отражены на *рис. 6*. Главное наблюдение, которое можно сделать, глядя на эту схему (при том, что на основании данных об индоевропейских заимствованиях в финно-угорских языках и анализа культурной лексики – см. подробнее ниже – и традиционно принято считать, что финно-пермская и финно-волжская праязыковые общности существовали с рубежа III / II тыс. до н.э. до начала / середины I тыс. до н. э. [Décsy 1965: 153-155; Гуя 1974: 38-39; Хайду 1985: 172-175; Хелимский 1982: 8-10, 45]): распад «дочерних» западных финно-угорских праязыков (от финно-пермского, до прибалтийско-финско-саамского) произошёл весьма быстро, практически на протяжении 2-й половины II тыс. до н. э., что хорошо согласуется с предложенной мною более десяти лет назад гипотезой резкого расширения финно-угорского языкового ареала на западе и финно-

угризации Восточной Европы вследствие интенсивных социально-экономических процессов вызванных «металлической революцией» (см. выше) и климатическими сдвигами конца суббореала [Напольских 1990].

Рис. 4

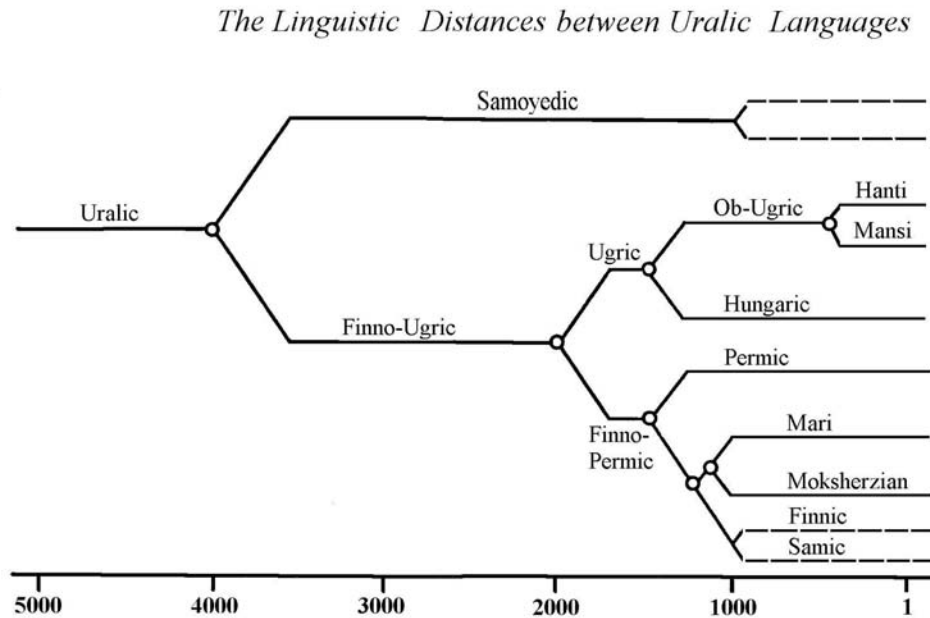


Рисунок 6. Лингвистические расстояния между уральскими языками на временной шкале по методу глоттохронологии – из [Taagepera 1994: 165].

Район обитания носителей языков финно-пермской и финно-волжской общностей находился уже не в пределах таёжной зоны, как уральская и финно-угорская прародина [Хайду 1985: 154-160; Напольских 1997а: 128-140, 163-167], а по крайней мере в значительной своей части должен был охватывать смешанные и / или широколиственные европейские леса, о чём свидетельствуют следующие названия деревьев:

– ф.-п. **ñine* ‘лыко, молодая липа’ [UEW: 707];

– ф.-п. **päškz* ‘орех (лещина)’ [UEW: 726];

– ф.-п. (мар.-удм.) **ñolkz* ‘вяз’ (?) [UEW: 715];

– ф.-в. **päkšnä* ‘липа’ [UEW: 726]

– ф.-в. **wakštze* ‘клён’ [UEW: 812]

– ф.-в. (ф.-морд.) **omz-na / -rz* ‘яблоко’ [Joki 1973: 295; UEW: 718]. Последнее слово интересно ещё и потому, что является (восточно-)иранским заимствованием (причём, возможно, из двух восточноиранских языков или диалектов, по-разному отражающих иран. **amarna* ‘яблоко’, ср., например: вах. *mīr* и шугн. *mīn* ‘яблоко’ [Стеблин-Каменский 1999: 241]) и маркирует, таким образом, контакты носителей финно-мордовских языков с восточными иранцами на северной или северо-восточной периферии ареала дикой яблони в Восточной Европе (см. также ниже).

Точнее о времени и обстоятельствах продвижения носителей языков и диалектов финно-пермской и финно-волжской общностей в Восточной Европе на запад позволяют судить следующие этимологии:

– ф.-в. **toma* ~ ППерм. **tupi* ‘дуб’ [UEW: 798] – вероятно, оба корня восходят к ф.-п. **tompa*, которое в западных (дофинно-волжских) диалектах было осмыслено как **tom-pū*, где **pū* ‘дерево’ (ф. *puu* и т.д.), с последующим восстановлением «полной» основы, а в восточных (допермских) диалектах имело место нормальное развитие **tompa* > **tub* / **tub-*

pu (обычный для названий деревьев композит со вторым элементом **pu* ‘дерево’) > **tupu*. Ф.-п. **tumpa* ‘дуб’ скорее всего является заимствованием из индоевропейского диалекта, принадлежавшего центральноевропейской общности, точнее – её протобалтскому (балто-славянскому) ареалу, где одним из названий ‘дуба’ было **dombo-*, отражённое в ПСл **dobjū* ‘дуб’ < ПИЕ **dhom-bh-*. Северо-восточная граница распространения дуба в Восточной Европе проходит сегодня по нижнему-среднему течению Ветлуги, Вятки и Камы, восточнее юга Среднего Прикамья дуб не известен. В отдельные периоды суббореала возможно было продвижение дуба на север от современной его границы, но едва ли – на восток. Заимствование названия этого дерева, незнакомого носителям финно-угорской речи, происходившим из Западной Сибири, должно было произойти во II тыс. до н. э. на нижней Каме / в левобережье Средней Волги – именно здесь и в это время следует локализовать первые контакты финно-угров с жившими западнее носителями индоевропейских языков центральноевропейского или протобалтского круга.

– мар. *oško* ‘чёрный тополь, осокорь’ ~ морд. Э *ukso* ‘яшень, вяз’. Распространение осокоря и ясеня в Восточной Европе ограничено на севере и востоке Средним Поволжьем (от Ярославля до Казани, в основном – на правом берегу Волги). Данное слово также может быть заимствованием из древнего индоевропейского языка центральноевропейской общности: лит. *úosis* ~ ПСл **jasenī* ‘яшень’ (сюда же, возможно, и рус. *осокорь*) ~ др.-норв. *askr* ‘яшень’ и т. д. < **oske-* ‘яшень; (?) осокорь’. Данное сопоставление было предложено в числе «иранизмов» [Jacobsohn 1922: 15-16, 54], что неприемлемо, так как в арийских языках рефлексов этого индоевропейского корня нет (см. [Joki 1973: 333]); это сопоставление уже рассматривалось как “древний балтизм” [Казанцев 1985: 58].

– ф.-в. **jäwre* ‘озеро’. Традиционно восстанавливаемая форма **järwe* [UEW: 633] базируется исключительно на прибалтийско-финских данных и неверна (ср. саам. Н *jawre* ‘озеро’ при метатезе **-wr-* > **-rw-* в пр.-ф. **torve* ‘рог’ ← балт. **taure* ‘тж’: лит. *taurė* и т. д.). Это слово также было заимствовано из протобалтского **jeure-* ‘море’: лит. *jūra* ‘море’ и т. д. < ПИЕ **eǵəri* ‘тж’ [Būga 1959: 273-275] и заменило в западных финно-угорских (финно-волжских) языках старое слово для ‘озера’, ПУ **towe*, сохранившееся в пермских, угорских и самодийских языках [UEW: 533]. Оба эти корня широко представлены в субстратной топонимии Восточной Европы (основы на *-яxp(ь)* / *-яgp(ь)* и *-яp(ь)* / *-ep(ь)* < **-jǵwr* – см. выше раздел о топонимии – и на *-mo* / *-my* < **-towe*), причём граница между ними проходит (если не считать поздних собственно марийских и мордовских топонимов на востоке) по линии Северная Двина – Ветлуга [Матвеев 1991: 13-15], что опять-таки указывает на район Нижней Камы – Средней Волги как наиболее вероятное место встречи восточного финно-угорского и западного протобалтского языковых миров.

Дальнейшее продвижение финно-угорской речи на запад маркируется заимствованиями, истоком которых был уже язык собственно восточнобалтского типа: большинство форм, заимствованных в финно-волжские языки практически выводимы из современных литовских – ср. приведённые выше протобалтские / центральноевропейские этимологии, в которых прототип либо вовсе не зафиксирован в собственно восточнобалтских языках, либо заметно отличается от литовской формы (следует заметить, что и большинство субстратных балтских топонимов в Центре Европейской России отражают скорее не западно- а восточнобалтский язык [Откупщиков 2001: 365]). При анализе этих данных следует, однако, иметь в виду, что классические работы по данному вопросу [Thomsen 1890; Kalima 1936] имеют существенный недостаток: материал рассматривается в них с финской точки зрения, т. е. сепаратные (не имеющие параллелей в прибалтийско-финских языках) балтизмы в мордовском и марийском учитываются скорее случайно, целенаправленного поиска в этом направлении не было. Буквально единичные дополнения из финно-волжских языков (напр. морд. *keřas* ~ удм. *karas* ‘соты’ ← балт.: лит. *korỹs* ‘тж’ [Joki 1973: 268], морд. *akša* ~ мар. *ošo* ‘белый’ < **akša* – если из < **aikšā* ← балт.: лит.

aiškus ‘светлый, ясный’ [Katz 1985: 102]) были сделаны позднее. Местные учёные неоднократно предпринимали попытки дополнить списки В. Томсена и Я. Калимы новыми балтизмами в марийском и мордовском, но почти все их этимологии крайне неудачны. Гипотеза Б. А. Серебренникова о наличии балтизмов в волжских и пермских языках [Серебренников 1957] интересна, но основана на очень слабой базе (ряд слов из его списка – прауральские, некоторые имеют тюркское происхождение, качество большинства сопоставлений низкое). Интересна попытка Г. С. Кнабе провести стратификацию балтизмов в поволжских финских языках, в частности – указание на то, что ряд слов, традиционно трактуемых как иранские заимствования, с тем же успехом могут быть объяснены и как балтизмы, либо могут восходить к некоему индоевропейскому языку, происходившему из пограничного балто-арийского ареала; там же – некоторые интересные сопоставления с балтскими слов пермских языков [Кнабе 1962]. К сожалению, и эта работа довольно поверхностна и не получила дальнейшей разработки; кроме того, наличие в пермских, мордовском, марийском и поволжских тюркских языках заимствований из языка балто-славянского типа может иметь объяснение в связи с миграцией центральноевропейских групп в Среднее Поволжье в сер. I тыс. н. э. (прежде всего – носители именьковской археологической культуры) [Napol'skich 1996; Напольских 2006]. В последнее время П. Саммалаhti предложил ряд интересных этимологий саамских слов [Sammalahti 2001], которые он сам почему-то называет «(пра)индоевропейскими», что неверно, так как большинство их отражает сатемный индоевропейский язык балтского или арийского типа – таким образом позиция исследователя препятствует реальному введению результатов его работы в научный оборот. В любом случае, здесь речь идёт скорее всего о заимствованиях не из собственно (восточно-)балтского, а из какого-то сатемного языка центральноевропейской общности (подробнее об этих этимологиях П. Саммалаhti и о совершенно негодных в большинстве своём, но очень модных в современном финно-угроведении разработках в том же направлении Й. Койвулехто см. [Напольских, Энгватова 2000]). Таким образом, проделанная со времени выхода в свет трудов В. Томсена и Я. Калимы работа в общем не меняет созданной ими картины.

Распределение (восточно-)балтских заимствований в финно-угорских языках весьма показательно: в угорских и пермских языках их, видимо, нет; в марийском – всего несколько слов, имеющих при этом также в прибалтийско-финских и / или в мордовском; в мордовском – около десятка, причём ряд слов не имеет прибалтийско-финских соответствий; в саамском – около двух десятков, и они имеют параллели в прибалтийско-финских, почему и считаются проникшими в досаамские диалекты прибалтийско-финско-саамской общности не непосредственно, а через доприбалтийско-финские диалекты; в прибалтийско-финских языках количество балтизмов исчисляется сотнями [Thomsen 1890; Kalima 1936; Korhonen 1981: 28-35].

В целом взаимодействие финно-волжских и (восточно-)балтских языков отражено на схеме М. Корхонена – *рис. 7*. Для помещения этой схемы на конкретную географическую карту принципиальное значение имеют названия рыб, заимствованные из балтских языков в прибалтийско-финские:

– ф. *lohi* ~ саам. Н *luossâ* ‘благородный лосось, сёмга’ < **loše* ← балт.: лит. *lāšis* ‘тж’ [Kalima 1936: 133];

– ф. *ankerias* ~ лив. *anņgārz* ‘угорь’ ← балт.: лит. *ungurỹs* ‘тж’ [Kalima 1936: 90-91];

– эст. *eherus* ‘речная форель; (диал.) маленькая речная рыба’ ← балт.: лит. *ešerỹs* ‘окунь’ [Kalima 1936: 92];

– эст. *lest* ‘камбала’ ← балт.: лит. *plėkšnė* ‘тж’ [Viitso 1983].

Эти названия указывают на то, что носители финно-угорской речи познакомились с рыбами бассейна Балтийского моря, отсутствующими в реках бассейна Волги, через посредство восточных балтов, т. е. – к моменту распространения финно-угорских языков западнее водораздела Волги и рек бассейна Балтики на берегах последних уже проживало

население, говорившее на восточно-балтских языках (к истории вопроса см. [Ravila 1949; Viitso 1983; Хелимский 1985; Napolskikh 1993]). С этими же обстоятельствами связано, видимо, и заимствование слова для 'моря' из восточно-балтского в прибалтийско-финский (ф. *meri* и т. д. ← балт.: лит. *mārė* 'море') [Kalima 1936: 137-138; Vaba 1997]. Хотя, судя по языковым заимствованиям, непосредственное расселение прибалтийских финнов на берегах Балтики и знакомство их с приморскими реалиями происходило уже в ходе интенсивных контактов с германцами. Количество германских заимствований в прибалтийско-финских языках значительно превосходит количество балтских, и они отражают непрерывные контакты, имевшие место в Балтийском регионе как минимум с середины I тыс. до н. э. (с архаичным германским языком восточно-германского или даже прагерманского облика) до позднейших шведских и немецких заимствований нового времени. Саамский язык также очень рано контактировал с германскими (северногерманским, древнескандинавским) языками. Старых германских заимствований в финно-угорских языках восточнее прибалтийско-финских и саамского, видимо, нет (обстоятельный критический обзор новейших взглядов и гипотез о германских заимствованиях в финно-угорских языках см. в [Ritter 1993]).

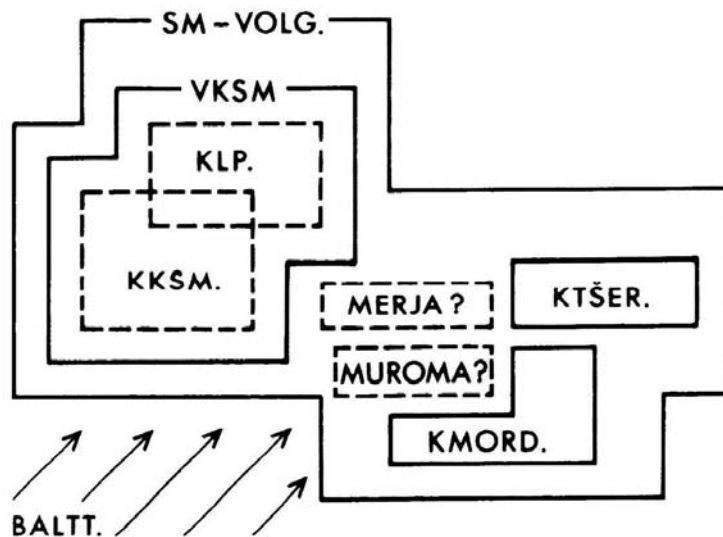


Рисунок 7. Схема взаимодействия балтских и финно-волжских языков из [Korhonen 1981: 33]. Сокращения: SM-VOLG. – финно-волжский, VKSM – прибалтийско-финско-саамский, KLP. – общесаамский, KKSM. – общеприбалтийско-финский, MERJA – мера, MUROMA – мурома, KTŠER. – общемарийский, KMORD. – общемордовский, BALTT. – восточно-балтский.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: встреча имевших в общем восточное происхождение носителей языков финно-волжской общности с жившими от них в общем к западу носителями (восточно-)балтских языков имела место в финальный период существования финно-волжской общности (см. неравномерное распределение балтизмов и резкое сокращение их числа на востоке), т. е. (см. выше) в конце II – первой половине I тыс. до н. э., в районе близком к водоразделу Волги и рек бассейна Балтийского моря. Таким образом, финно-угорско-балтская граница, устанавливаемая путём анализа субстратной топонимии (рис. 4: 1) в основном, видимо, совпадает с границей «встречи» этих языков, сложившейся в начале I тыс. до н. э. вследствие взаимного движения (восточных) балтов с запада и финно-угров с востока, и нет оснований предполагать более древнее

присутствие собственно финно-волжского языкового компонента западнее этой границы, и собственно балтского – восточнее, что согласуется и с топонимическими данными. Можно предположить, что финно-угорско-балтская «смычка» происходила за счёт ассимиляции палеоевропейских, индоевропейских (центральноевропейских, протобалтских), палеоевропейских и, возможно, проникавших с юга арийских (иранских) и каких-то парауральских (не собственно финно-волжских) групп.

Для настоящего обзора также важно, что к середине I тыс. до н. э. финно-угорские языки, исторически известные в Центре Европейской России уже должны были выделиться из реконструируемых праязыковых общностей. Вместе с тем, это не значит, что уже во второй половине I тыс. до н. э., например, древнемарийский язык существовал обособленно: весьма вероятно, что для данного времени можно было бы говорить о сохранявшейся марийско-мерянской общности – если бы у нас было достаточно данных о мерянском языке. Данный вывод в определённой мере снижает возможности языкознания для реконструкции состояния культуры, общества и уточнения локализации соответствующих языков с сер. I тыс. до н. э.: после реконструируемого на основании сравнения марийских, мордовских, саамских и прибалтийско-финских материалов финно-волжского состояния лингвист может вести речь только об эволюции названных отдельных ветвей, и появляется своего рода пропасть между финно-волжской и поздней собственно марийской, например, стадией.

Наибольшую ценность здесь приобретают данные о внешних контактах западных финно-угорских языков. Картина взаимодействия прибалтийских финнов, саамов и поволжских финнов с балтами и германцами дана выше. Второе направление внешних языковых и культурных контактов, определявших историю финно-угров в Европе в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. – контакты со степным ираноязычным населением. Выше уже шла речь о проблемах, связанных с интерпретацией древнейших арийских заимствований в финно-угорских языках. Важно, что древнейшие (называть ли их *праиранскими* или – более корректно *древними арийскими*) заимствования распределены в финно-угорских языках более или менее равномерно (колебания объяснимы разной степенью изученности разных языков на сей предмет и возможными случайными выпадениями и заменами слов). Распределение же заимствований, определяемых как собственно иранские (древнеиранские) уже не может быть объяснено только разной степенью сохранности старой лексики, но, по-видимому, показывает, что основная область финно-угорско-иранских контактов в это время (VII–III вв. до н. э. по [Harmatta 1977: 176]) находилась в районе расселения носителей поволжско-финских языков / диалектов финно-волжской общности и пермского праязыка (см. таблицу ниже). Та же картина сохраняется и для среднеиранского периода (последние века до н. э. – первая половина I тыс. н. э. по [Harmatta 1977: 178]), но активные контакты с носителями среднеиранских языков имели и предки угров, видимо на юге западной Сибири и на Урале.

Данные о распределении разновременных иранизмов сведены в приводимой ниже таблице². Относительно низкие по сравнению с мордовским и пермскими цифры по марийскому языку должны быть скорее всего скорректированы в сторону повышения (по крайней мере в части среднеиранских и восточноиранских заимствований): хотя многие иранские этимологии марийских слов, предлагавшиеся в работах местных авторов не выдерживают критики (помимо просто плохих сопоставлений часто встречаются, например, сравнения с персидскими словами арабского происхождения, попавшими в марийский через тюркское посредство и т. п.), среди них есть и достаточно надёжные иранские этимологии марийских слов, отсутствующие в классических работах А. Йоки, К. Редери и др. и не учтённые в подсчётах Й. Харматты: прежде всего (даю с дополнениями и необходимыми поправками): мар. *(o)nar* ‘великан (мифическое существо)’ ← осет. *nael*, ав. *nar-* ‘самец,

² Таблица составлена по обзору Й. Харматты, со времени появления которого список иранизмов в финно-угорских языках изрядно пополнился. Однако общая картина осталась, по-видимому, той же.

мужчина»; мар. *vače* ‘плечо’ ← осет. *bazyg* ‘рука выше локтя, плечевая кость’, перс. *bāzū* ‘рука ниже локтя»; мар. *rveze* ‘парень, юноша, молодой человек’ ← осет. *ærvad / ærvadae* ‘брат, родич»; мар. *šör* ‘молоко’ ← осет. *xsur*, перс. *šīr* ‘молоко’ [Гордеев 1967: 195-199]; мар. *pəze* ‘мясо’ ← ав. *pitav-* ‘еда’, осет. *fyd* ‘мясо’ [Казанцев 1980: 108]. Поэтому при марийских данных в таблице добавлено “+ 5?”.

Таблица. Репрезентация разновременных иранских заимствований в финно-угорских языках. Составленно по [Harmatta 1977: 174-180]. Цифры обозначают как наличие рефлексов общих иранизмов в отдельных финно-угорских языках, так и сепаратные иранизмы.

| | «Праиранские» | «Древнеиранские» | Среднеиранские: | |
|-------|---------------|------------------|-----------------|---|
| | | | всего | в том числе – распознаваемые как специально восточноиранские |
| саам. | 15 | 7 | 1 | 1 |
| ф. | 25 | 10 | 4 | 4 |
| морд. | 27 | 19 | 28 | 12 |
| мар. | 14 | 12 | 12 (+ 5?) | 1 (+ 5?) |
| коми | 27 | 33 | 39 | 8 |
| удм. | 24 | 25 | 31 | 6 |
| венг. | 26 | 6 | 45 | 12 |
| манс. | 15 | 9 | 24 | 12 |
| хант. | 12 | 8 | 17 | 8 |

Интенсивные контакты древне- и среднеиранского времени с пермянами и волжскими финнами могут быть с наибольшей вероятностью локализованы на Средней Волге – исходя из наших представлений о древнейшей локализации пермян и мордвы и имея в виду следующие две очень показательные этимологии:

– морд. Э *rav* ‘Волга’ ← иран.: 1) ав. *ravan-*, перс. *rōd* ‘река’; 2) ав. *Raṅhā-* – название мифической реки на краю мира (Сырдарья? Волга?), скиф. *Ῥα-* ‘Волга’ (у Птолемея) [Munkácsi 1901: 533; Jacobsohn 1922: 238-242; Joki 1973: 307]. Вторая из приведённых версий представляется более основательной, по-видимому, данное иранское название Волги имело весьма большую значимость в мифологических, космологических представлениях, в силу чего и было заимствовано предками мордвы.

– ППерм **sariž* ‘море, тёплые края на юге’ (сюда же, возможно, и ф. *sarajas* ‘море (в фольклоре), река Похьолы’) ← ар.: ав. *zraya-* ‘море’, перс. *daryā* ‘море, большая река’ [Joki 1973: 349; Rédei 1986: 81]. Таким образом, помимо балтского слова для ‘морья’ (вполне, видимо, конкретного, Балтики) в прибалтийско-финском, в прапермский было заимствовано иранское слово с тем же значением, – но уже как обозначение не конкретной географической реалии, а волшебной страны на юге³.

Приводимые здесь данные позволяют в принципе дополнить схему М. Корхонена (рис. 7), обозначив иранское влияние с юга, охватывавшее непосредственно прежде всего прамордовский и располагавшийся восточнее прапермский, и более точно поместить эту схему на географической карте – примерно так, как это сделано на рис. 4. Что касается датировки этой карты, то в самом общем виде её можно определить как I тыс. до н. э., исходя из принятых датировок распада финно-угорских языков, датировок древнеиранской и

³ Совершенно аналогичное название для страны с тёплым морем, где зимуют перелётные птицы в обско-угорских языках обозначает буквально ‘страну морти’ (манс. *mōrtim-mā* ~ хант. *mōrtə-mūw*), где *mōrti* – очевидное заимствование из иранского **marta* ‘человек, смертный’.

среднеиранской стадий развития иранских языков (см. выше) – и данных о культурных и хозяйственных реалиях финно-пермского и финно-волжского периодов, реконструируемых с помощью сравнительно-исторического языкознания (см. ниже).

III.

Реконструируемая лексика финно-угорского и тем более уральского праязыков не позволяет говорить о знакомстве носителей этих языков с металлами, земледелием и скотоводством [Хайду 1985: 176-188; Напольских 1997а: 121-125]. По всей вероятности, могли иметь место отдельные контакты с носителями этих культурных достижений, но освоение их самими уральцами должно было произойти уже после распада финно-угорского единства. Есть как минимум две любопытных этимологии, свидетельствующие о начале знакомства финно-угров с элементами или продуктами производящего хозяйства (о металлах см. отдельно ниже) в конце существования праязыковой общности либо вскоре после её распада (последнее наиболее вероятно, но требует предположения о проникновении соответствующих терминов в праугорский через прапермское посредство, которое невозможно ни доказать, ни опровергнуть). Одновременно эти этимологии указывают на источник соответствующих культурных новшеств:

– ПФУ (п.-манс.) **puśnз* ‘мука’ [UEW: 408-409]: удм., коми *piž* (*pižn-*) (< ППерм **piśn-*) ~ манс. *pasén* и т. д. ‘мука’. Данное слово давно сопоставляли с др.-инд. *piṣṭa-*, ав. *pištra-* ‘мука’ [Munkasci 1901: 646], однако эти арийские формы не могут быть его источником (см., однако, ниже ф.-в. **pušta* ‘толокно’), на роль которого весьма подходит протобалтское (прабалто-славянское) **pišen-*, восстанавливаемое на основе ПСл **pišeni* ‘пшено, пшеница’ – причастие прошедшего времени от **piχati* ‘пихать, толочь’;

– ПФУ **uče* ‘овца’ [UEW: 541]: ф. *uuhi* ~ морд. *uča* ~ удм., коми *iž* ~ манс. *ḡs* и т. д. ~ хант. Вах *ač* и т. д. Более точная ПФУ реконструкция: **oča* (по «правилу Генеца» [Genetz 1895] в мордовском **CoCa* > **CuCo*) или даже **ouča* (по долготу *u* в финском – уже в [Munkásci 1901: 383]). Формально прафинно-угорское слово для ‘овцы’ настолько очевидно противоречит комплексу реконструируемых реалий прафинно-угорской культуры как охотничье-рыболовческой, что для его объяснения предлагались самые разные, порой совершенно нелепые объяснения (например: “похожее на овцу дикое животное” в [UEW: 541]). Между тем перед нами – очевидное индоевропейское заимствование, для установления конкретного источника которого могут быть предложены две гипотезы: 1) из какого-то арийского или протобалтского языка, ср.: др.-инд. *ajāḥ*, лит. *ožys* ‘козёл’, др.-инд. *aja*, лит. *ožka* ‘коза’ < ПИЕ **ag(a)-* ‘козёл, коза’ (семантический переход ‘коза’ → ‘овца’ в принципе не представляет сложности, в особенности учитывая то обстоятельство, что козы и овцы часто составляют единое стадо, вожаком которого часто бывает козёл) [Напольских 1997а: 122]; 2) альтернативное объяснение этого слова как протобалтского (прабалто-славянского) заимствования из формы типа **ovičā* ‘овца’, соответствующей ПСл **ovica* < **ovikā* / (?) **ovikjā* < ПИЕ **ovi-* ‘овца’ хотя и безупречна по семантике и фонетике (**ovičā* → **ouča* – если долгота *u* в финском имеет этимологический характер), встречает хронологические трудности: она предполагает существование очень раннего (III тыс. до н. э.) протобалтского языка или диалекта, в котором имела место палатализация, аналогичная поздней (I тыс. н. э.) славянской. В то же время следует считаться с тем, что существует как минимум ещё одна этимология, подтверждающая возможность существования в Восточной Европе древнего индоевропейского языка, принадлежащего протобалтскому ареалу, для которого была характерна развитая палатализация славянского типа: ф.-п. **še(ć)ćem* ← протобалт. **set^ćim-* < ПИЕ **septm-* ‘семь’ [Napolskikh 1995: 120-125]. Наличие же арийско-балтской этимологической альтернативы не должно удивлять: давно замечено, что для целого ряда слов, традиционно рассматриваемых как арийский заимствования в финно-угорских языках в равной мере (а порой и с большим основанием) возможна балтская

этимология [Кнабе 1962: 72-73]. Классический признанный случай подобной альтернативы – ф.-п. **porśas* ‘свинья’ – см. ниже, см. также ф.-п. **ajša* ‘оглобля’.

Таким образом, уже в самом конце финно-угорской общности или – скорее – в начале сепаратного развития финно-пермских и угорских языков, когда ещё сохранялись тесные ареально-генетические связи прапермских и праугорских диалектов (т. е., скорее всего, примерно в конце III – начале II тыс. до н. э., носители финно-угорских языков познакомились с первыми элементами производящего хозяйства при посредстве носителей индоевропейских языков протобалтского и / или арийского круга.

В собственно финно-пермскую эпоху (рубеж III–II тыс. до н. э. – вторая половина II тыс. до н. э. носители языков и диалектов финно-пермской общности уже должны были освоить производящее хозяйство, прежде всего – скотоводство, о чем свидетельствуют этимологии для названий домашних животных:

- ф.-п. (мар.-п.) **ošz* ‘жеребец’ [UEW: 607];
- ф.-п. (мар.-п.) **uskalz* ‘корова’ [UEW: 805];
- ф.-п. (мар.-п.) **uškz* ‘бык’ (← иран.: ав. *uχšan-* ‘бык’) [Joki 1973: 334; UEW: 806];
- ф.-п. (мар.-п.) **mež* ‘овца’ (← иран.: ав. *maēša-*, перс. *mēš* ‘овца’) [Joki 1973: 285].

Эти четыре этимологии, однако, не обязательно имеют древнее (прафинно-пермское) происхождение, поскольку их рефлексy представлены только в марийском и пермских языках: эти понятия могли сложиться в ходе более поздних пермско-марийских ареально-генетических контактов. См., однако:

– ф.-п. **porśas* ‘свинья’. Слово заимствовано из индоевропейского источника: иранского: ав. *parəsō*, хот.-сак. *pā’sa* – или балтского: лит. *paĩšas* ‘свинья’, причём возможно, что в разные языки – из разных источников: в финно-волжские скорее из балтского, в пермские – из иранского, однако возможность прафинно-пермского возраста этого слова также не исключена [Joki 1973: 303; Rédei 1986: 56; UEW: 736];

– ф.-п. **čoňz* ‘молодой самец дом. животного: жеребёнок, бычок’ [UEW: 614];

– ф.-п. **marta* ‘бесплодная (от старости – о корове); яловая’ (? ← ар.: ав. *marəta-* ‘смертный’) [UEW: 699].

Домашние животные использовались для получения не только мяса:

– ф.-п. (мар.-коми) **lüštz-* ‘доить’ [UEW: 691];

– ф.-п. (мар.-п.) **sukz* ‘щетина’ (← ир.: ав. *sūka-* ‘игла’) [UEW: 767; Joki 1973: 315].

(см. также ниже **śuka* ‘зерно, мякина’).

На наличие гужевого транспорта или использования скота для пахоты указывает:

– ф.-п. **ajša* ‘оглобля’ (← ар.: ав. **aēša-* ‘плуг’), того же индоевропейского корня название для ‘оглобли’ заимствовано в прибалтийско-финские языки из балтских: ф. *aisa* ← балт. **ajša* – ещё один случай параллельного заимствования термина в финно-пермские языки из балтского и арийского (см. выше ПФУ **učē* ‘овца’, ф.-п. **porśas* ‘свинья’) [Joki 1973: 253-254; UEW: 605].

О способах содержания скота свидетельствуют слова:

– ф.-п. **kentä* ‘участок луга, пастбище (> хлеб)’ [UEW: 658];

– ф.-п. **tarna* ‘трава, сено’ (← ар.: хот.-сак. *tarra-*, др.-инд. *tr̥ṇa-* ‘трава’) [UEW: 792].

О земледелии свидетельствуют – помимо слова для ‘муки’ (см. выше) прежде всего термины для ‘хлеба в зерне’, которые в древности могли, видимо, относиться к разным видам злаков:

– ф.-п. **jewä* ‘зерно, хлеб в зерне’ (← ар. **jēua-* ‘тж’) [UEW: 633-634];

– ф.-п. **kšntz* ‘хлеб в зерне, семена’ [UEW: 681];

– ф.-п. (морд.-коми) **norz* ‘хлеб в зерне’ [UEW: 710].

Как минимум два вида злаков можно идентифицировать точнее:

– ф.-п. (морд.-п.) **sorз* ‘вид злака или сорняк: просо, костёр’ [UEW: 766];

– ф.-п. (морд.-коми) **pänз* ‘овёс’ [UEW: 726].

Об обработке зерна можно судить по:

– ф.-п. **pošз* ‘сито, просеивать; веять зерно’ [UEW: 738]

– ф.-п. **riŋe-še* ‘рига, овин’ [UEW: 745]

– ф.-п. **suka* ‘ость, мякина’ (← ар.: др.-инд. *sūka-* ‘тж’, ав. *sūka-* ‘игла’) [UEW: 777-778].

Вместе с тем следует отметить, что земледелие носило, по-видимому, ещё так сказать «подсобный» характер, и важнейшим продуктом его, возможно, был не столько хлеб, сколько пиво, культура приготовления которого опять-таки – судя по двум важнейшим заимствованиям – была заимствована от иранцев (подробнее см. [Борлукова 1997]):

– ППерм **sur* ‘пиво’ ← ар.: др.-инд. *surā* ‘алкогольный напиток’ [Joki 1973: 317; Rédei 1986: 59-61, 76-77]. Данное слово, будучи известно только в пермских языках, по своему облику (сохранение старого **s*) указывает на очень ранний арийский источник и поэтому должно рассматриваться как заимствование ещё допермского, финно-пермского времени;

– ф.-п. (саам.-п.) **taŋka* (на самом деле – **takka*) ‘кисть, бахрома’ [UEW: 791] ~ ППерм **tag* ‘хмель’ ← ир.: осет. *tag* ‘полоса, прядь’, перс. *tāk* ‘виноградная лоза’, афг. *tāke-čilaj* ‘хмель’ [Борлукова 1997: 21].

– ф.-п. **čoše* ‘ячмень’ с показательным развитием в ‘солод’ в пермских языках [UEW: 622]. Возможно, что первичное значение ф.-п. **čoše* – не ячмень (как в мордовском), а именно ‘солод’ (как в пермских) и этот корень связан с ПУ **čače* ‘рождаться’ (семантика ‘рождаться, прорасти’ > ‘проросшее зерно’ > ‘солод’ > ‘сырьё для получения солода, ячмень’) и представляет собой семантическую кальку с иранского оригинала: ср. осет. *zad* ‘солод’, букв. ‘проросшее’ [Борлукова 1997: 21];

– ф.-п. **jimä* ‘солод, саламата’ [UEW: 634-635];

– ф.-п. **čamčз* ‘прокисший, перестоявшийся (о молоке или пиве)’ [UEW: 617].

Помимо «пивного» направления земледелие в финно-пермскую эпоху вероятно уже имело значение и как источник сырья для ткачества. Прежде всего здесь значимо название для ‘конопли’:

– ф.-п. (п.-мар.) **känз* ‘конопля; семя конопли’ [UEW: 651] ← ар.: др.-инд. (Атхарваведа) *śaṇaḥ* ‘вид конопли’; перс. *kanab*, *kanaf*, осет. *gæn* ‘конопля’ – наиболее вероятен источник типа осетинского (скифский или аланский). Хотя данный корень присутствует только в пермском и марийском, речь идёт о евразийском миграционном термине, широко представленном в языках разных семей: от русс. *конопля*, нем. *Hanf*, тат. *kindēr* до греч. *κάνναβις*, лат. *cannabis* и шум. *kunibu* ‘конопля’. Морд. Э *kañčt*, М *kañtf* ‘конопля’ также принадлежит к этому кругу слов и независимо заимствовано, видимо, из какого-то иранского языка [КЭСК: 141; Rédei 1986: 70-71; Joki 1973: 270-271; ИЭСОЯ I: 512-513]. Конечный источник евразийского названия конопли неясен, обращает на себя внимание отсутствие наращений в основе **kVn-* в пермско-марийском, древнеиндийском и осетинском, которые, таким образом, выглядят более архаичными, чем даже греческое и шумерское слова. Х. Катц выдвинул остроумное предположение о связи этой основы с удм. *kudž-* ‘опьянеть’ ~ коми *kod* ‘пьяный’ (сопоставление с хант. Тром. *käntäkkä* – якобы ‘быть выпивши’, видимо, ошибка, т.к. на самом деле хантыйское слово означает ‘трезвый, неопьяневший’ [DEWOS: 519]) < ПФУ **kän-ta-* ‘быть одурманенным коноплей’ и, соответственно, о происхождении евразийских названий ‘конопли’ (изначально – как наркотического средства) из уральских языков [Katz 1985: 173-174], но его гипотеза нуждается в доработке. Дикорастущая конопля была, видимо, известна носителям финно-угорских языков с глубокой древности, ср. ПФУ **рүčз* ‘слой, нить, конопля (мужская)’ [UEW: 412] – причём, судя по значению, уже как источник растительного волокна (об этом

же свидетельствует и то, что к тому же корню безусловно восходит и ППерм **peč-* ‘крапива’ [КЭСК: 220], название другого дикорастущего источника волокна). Тогда в ф.-п. **känz* особо важно значение именно ‘семя конопли’: возможно, в финно-пермскую эпоху (если марийско-пермский корень восходит к этому времени, а не является позднейшим аланизмом) коноплю стали выращивать и для получения семян. Тем не менее наличие ткачества в культуре носителей языков финно-пермской общности не подлежит сомнению:

– ф.-п. (мар.-п.) **šürtz* ‘пряжа’ [UEW: 785]. Б. Мункачи в своё время обратил внимание на сходство этого корня с др.-инд. *sūtra-* ‘нить, шнур’ и вах. *žitr* ‘шерстяные нитки, пряжа’ [Munkásci 1901: 134, 643-644], но эта этимология не была принята исследователями [Joki 1973: 79]. На самом деле предположение Б. Мункачи в конечном счёте может быть верным, но нуждается в корректировке: древнеиндийское и ваханское слово друг с другом не связаны, и, если ваханское действительно восходит к ир. **gai-p-tra-* < **gai-p-* ‘прядь, скручивать нить’, откуда также вах. *žip-* и слова со значением ‘прядь’ в других памирских языках [Стеблин-Каменский 1999: 446-447], то источником марийско-пермского термина мог быть какой-то восточно-иранский язык с палатализацией **gai-* > **ži-*.

– ф.-п. (мар.-п.) **tokz-rz* ‘холст’ [UEW: 797].

В финно-волжское время (после отделения пермского праязыка от других европейских финно-угорских) происходило дальнейшее развитие скотоводства, что отражается в увеличении числа терминов для названий разнообразных домашних животных, различающихся по полу и возрасту:

– ф.-в. (ф.-морд.) **oraše* ‘боров’ (← ар.: др.-инд. *varāha-*, ав. *varāza-* ‘боров’) [Joki 1973: 296; UEW: 720];

– ф.-в. (ф.-морд.) **tika* ‘свинья’ [UEW: 796];

– ф.-в. (саам.-морд.) **ältz* ‘самка домашнего животного: важенка, кобыла’ [UEW: 609];

– ф.-в. (ф.-морд.) **wetz* ‘корова, тёлка’ [UEW: 821];

– ф.-в. (ф.-морд.) **lešmä* ‘самка домашнего животного: корова, кобыла’ [UEW: 689];

– ф.-в. (ф.-морд.) **akšterz* ‘неплодородный; яловая’ [UEW: 606] ← ар.: др.-инд. *a-kṣetra-* ‘неплодоносящий, невозделанный, заброшенный (о поле и т. п.)’ [Blažek 1990: 40];

– ф.-в. (ф.-морд.) **wača* ‘дитёныш скота: телёнок, важенка’ [UEW: 808];

– ф.-в. (ф.-морд.) **wasa* ‘телёнок’ (← иран.: осет. *wæs*, вах. *wušk* ‘тж’) [Joki 1973: 338; UEW: 814].

О содержании скота и использовании продуктов скотоводства свидетельствуют слова:

– ф.-в. (саам.-мар.) **čacž* ‘стадо’ [UEW: 611];

– ф.-в. **parma* ‘овод’ [UEW: 724];

– ф.-в. **utarz* ‘вымя’ (← ар.: др.-инд. *ūdhar-* ‘тж’) [UEW: 806; Joki 1973: 332];

– пр.-ф. **terne* ‘молозиво’ ← ар.: др.-инд. *tarṇa-* ‘телёнок’ [Joki 1973: 328] – данное слово неизвестно за пределами прибалтийско-финских языков, но его арийское происхождение указывает на как минимум финно-волжскую его древность;

– ф.-в. (ф.-морд.) **pektä* ‘сбивать масло’ [UEW: 728].

Очевидно в этот период возрастает роль земледелия, и оно безусловно носило уже вполне «хлебный» характер:

– ф.-в. **vešnä* ‘полба, пшеница’ [UEW: 821];

– ф.-в. **šora* ‘зерно, крупа’ [UEW: 776] ~ ф.-в. **šure* ‘каша, суп из зёрен’ [UEW: 779];

– ф.-в. **janša* ‘мука, молоть’ [UEW: 631-632];

– ф.-в. (ф.-морд.) **kürsä* ‘хлеб (примитивный сорт печёного хлеба)’ [UEW: 679] Возможно (сопоставление предложено ещё в [Munkácsi 1901: 646], здесь уточняется) заимствование из скифского или даже аланского: осет. *kærzyn* ‘лепёшки, повседневный непшеничный хлеб’ < **kær* ‘ячмень’ (← из кавказских языков: груз. *keri*, арм. *gari*, абх. *a-qar* ‘ячмень’ + *-zyn* “непродуктивный ныне формант”) [ИЭСОЯ I : 584-585];

– ф.-в. (морд.-мар.) **pušta* ‘толокно’ (← иран.: ав. *pištra-* ‘толчёное зерно’, перс. *pist*, вах. *pəst* ‘толокно’ [Munkácsi 1901: 646; Joki 1973: 306; Стеблин-Каменский 1999: 280].

Важнейшее значение имеет этимология, свидетельствующая о подсечно-огневом характере земледелия финно-волжского времени:

– ф.-в. (ф.-морд.) **šukta* ‘вид дерева; пал, выжига, росчисть при подсечно-огневом земледелии’ [UEW: 788]. Возможно – из иран.: ав. *suxta-*, осет. *syğd* ‘сожжённый’ (сопоставление предложено в [Koivulehto 2001: 256], но предположение Й. Койвулехто о раннеиранском источнике с **ts-* в анлауте здесь излишне: реконструируется не ф.-морд. **č-*, а **š-*, источником которого могло быть иран. **š-* / **s-*: в осетинском реальном произношении и сегодня такое чередование распространено повсеместно).

На побочные продукты земледелия указывают также этимологии:

– ф.-в. **kešträ* ‘прялка’ (?? ← ар.: др.-инд. *cāttra-* ‘тж’) [UEW: 656] (см. о выше ткачестве);

– ф.-в. (ф.-морд.) **olke* ‘солома’ [UEW: 717].

Для датировки распадов праязыковых единиц и для восстановления культуры носителей праязыков важнейшее значение имеют этимологии названий металлов.

Древнейшим таким названием в уральских языках является ПУ **waške* (корень представлен практически во всех уральских языках в значениях ‘медь’, ‘цветной металл’, ‘металл вообще’, ‘железо’, ‘металлическое украшение’ и т. п.) значение которого реконструируется как ‘какой-то (цветной) металл; (?) медь’ с комментарием о том, что речь идёт либо о самородной меди, либо о метеоритном железе, либо о болотной железной руде [UEW: 560-561], либо просто о каком-то (каком – ?) минерале, имеющем яркий зелёный или жёлтый цвет [Katz 1985: 320-321]. Вместе с тем, есть основания видеть в этом слове заимствование из индоевропейского источника, близкого к тохарскому: тох. А *wäs*, В *yasa* ‘золото’ < ПИЕ **H₂es-k-* ‘золото’, которое в свою очередь может быть древним миграционным термином ближневосточного происхождения – ср. шум. *guškin* ‘золото’ [Joki 1973: 339-340]. Переход значения ‘золото’ > ‘медь’ > ‘металл (вообще)’ вполне тривиален (ср. хотя бы ниже о названии меди в обско-угорских языках). Заимствование термина для драгоценного металла могло быть сколь угодно древним, и относиться ещё к дометаллической эпохе (т. е. теоретически – к прауральской древности), но по всей вероятности данное слово было заимствовано в разные уральские праязыки довольно поздно – уже после распада не только прауральского и прафинно-угорского, но и финно-пермской общности (подробнее с литературой см. [Napol’skikh 2001: 374]).

Слова для ‘золота’ заимствовались из индоевропейских языков в финно-угорские ещё неоднократно:

– ПУГ **saraña* (> венг. *arany* ‘золото’, хант. *lorňä* ‘медь’, манс. Пел. *tarəń* ‘медь’ – ср. выше о развитии значения в ПУ **waške*) ← иран.: ав. *zaraniya-* ‘золото’ [UEW: 843];

– ППерм **zarñi* ~ мар.-морд. **serñä* ← среднеиран.: осет. *zærīnæ* ‘золото’; пр.-ф. **kulta* ← герм.: нем. *Gold* [Munkácsi 1901: 10, 88, 141-142; Rédei 1986: 82; Joki 1973: 250; UEW: 843], что очевидно отражает не развитие металлургии, а скорее торговые и социальные отношения.

Названия ‘серебра’ также имеют достаточно позднее и различное происхождение в финно-пермских языках:

– ППерм **ǰzveś* / **eziś* (удм. *azveś*, коми *eziś* ‘серебро’), а также венг. *ezüst* ‘серебро’ (независимое заимствование из аланского) ← иран.: осет. *ævzīst* < *(*æ*)*vzēste* < **zvēste* букв. ‘звёздный (металл)’ [ИЭСОЯ I: 213, 188; Munkácsi 1901: 246-249]. В финно-угроведческой литературе данное слово рассматривается (в связи с его кажущейся близостью с ППерм **ozveś* ‘олово; свинец’ – см. ниже) и как возможное пермское заимствование в венгерском и даже в осетинском (см. с литературой [Joki 1962: 157-158]), что неприемлемо ни фонетически, ни с историко-культурной точки зрения.

Ф. *horea* и мар. *šij* ~ морд. *šija* ‘серебро’ не имеют финно-угорских параллелей, марийско-мордовское слово может быть связано с перс. *sīm* ‘серебро, деньги’ (< пехл. *asēm* ← греч. *ἀσημιος* (*ἀργυρος*) ‘нечеканенное (серебро)’ [Nyberg 1974: 31, 174]) – заимствование, подобное коми *šajt* ‘(серебряный) рубль’ ← иран.: ав. *šāēta* ‘деньги’ [Munkácsi 1901: 72; КЭСК: 316].

Интересны названия цветных металлов – компонентов медных сплавов, очевидно отражающие дальнейшее развитие цветной металлургии в эпоху финно-пермскую и финно-волжскую. Прежде всего – одно из немногих, которые могут считаться собственными финно-угорскими инновациями:

– ППерм **ozveś* (> удм. *uzveś*, коми *ozjś*) ‘олово, свинец (с цветовыми обозначениями)’ ~ манс. *ātwēs*, Пел. *oātwēš* ‘свинец’. Видимо, возникший в ходе ареальных прапермско-мансийских контактов композит **ǰs-weś* (со вторым компонентом **weś* < ПУ **waske*), означавший изначально ‘светлый’ или ‘закаливающий’ металл. Сходство форм этого слова с пермским (древнеосетинским по происхождению – см. выше) названием серебра сложилось скорее всего уже в пермских языках, вследствие народной этимологии.

Другие названия цветных металлов обнаруживают широкие параллели в индоевропейских языках:

– мар. *wulno* ~ манс. *ōln* ~ хант. *Вас. olna* ~ венг. *ón, ólom* < **wolnz* / **olnz* ‘олово, свинец’ [UEW: 581]. Данное слово может быть заимствованием из индоевропейского языка протобалтского (балто-славянского, центральноевропейского – см. выше о ПФУ **puśnz* ‘мука’ и **uče* ‘овца’) ареала, где могла существовать форма **al-n-os* параллельная балт. **al-u-olis* ‘олово, свинец’ (> ПСл **olvī*: рус. *олово* ~ лит. *álvas* ‘тж’) < ПИЕ **al-* ‘белый’; аналогичные параллельные образования с расширениями на **-n-* и **-u-* нередки в балто-славянских языках: ср., например, рус. *пелена* < ПСл **plēna* ~ лит. *plėnė* ‘нежная кожа, куртка’ – и рус. *плева* < ПСл **plēva* ~ лит. *plėvė* ‘тонкая кожа’ [Напольских 1997а: 123].

– мар. *würyeñe* ‘медь’ ~ ППерм **ürgon* ‘медь’ (> удм. *irgon*, коми *irgen*). Это слово сопоставляют с осет. *ærx_αy* ‘медь’, считая его, таким образом, иранским заимствованием (< среднеиран. **γran(i)*- ‘красный (металл)’ или заимствование из кавказских языков: груз. *rk’ina*, лаз. *erkina*, табас. *rugh*, агул. *ruq* ‘железо’) [Munkácsi 1901: 247-248; ИЭСОЯ I: 186; Joki 1962: 151-153; КЭСК: 329]. С другой стороны при этом, однако, не учитывается не менее очевидная балтская параллель: лит. *wārias, wāris* ~ прус. *wargien* ‘медь’, хотя это сопоставление известно в индогерманистике очень давно [Schrader 1907: 71-72; Trautmann 1910: 458]. В свете этой параллели имеет смысл с вниманием отнестись к предположению Т. Уотилы о том, что пермское и марийское название меди не связаны друг с другом [Uotila 1930: 170-173], и сопоставлять пермское слово с осетинским (с иранскими или кавказскими истоками), а марийское с балтскими (здесь возможно предположение и о заимствовании из марийского в балтский – имея в виду отсутствие этимологии у балтского названия меди [LEW II: 1200] и принимая гипотезу Т. Уотилы о мар. *würyeñe* как собственно марийской инновации от *wür* ‘кровь’ + суффиксы *-ye-ñe* с первоначальным употреблением в композите типа хант. *virti-voχ* или эст. *verrev vask* ‘медь’, букв. ‘красный металл’ [Uotila 1930: 171].

Названия ‘железа’ в финно-угорских языках представлены модификацией ПУ **waske* (венг. *vas* ‘железо’ и др.) на востоке и германским заимствованием (ф. *rauta* ‘железо’ и т. д.) на западе. В языках от мансийского до мордовского слова для ‘железа’ являются заимствованиями из различных иранских языков, точнее – развитием иранской основы **kārt-* (> ав. *kar²ti* ‘нож’, осет. *kard* ‘нож, сабля’):

– манс. *kēr* < **kīr*;

– удм. *kort* ~ коми *kert* < ППерм. **kört*;

– морд. *kšni* ~ мар. *kürtñö* < **kārt-ni* [Joki 1973: 273; Rédei 1986: 71].

Несмотря на то, что для финно-пермских и даже финно-волжских языков, таким образом, общего названия ‘железа’ реконструировать не представляется возможным, о наличии железа в культуре носителей языков финно-волжской праязыковой общности могут косвенно свидетельствовать следующие этимологии:

– ф.-п. (мар.-п.) **simz* ‘ржавчина, ржаветь’ [UEW: 758]. Поскольку речь идёт о типичном ареальном марийско-пермском схождении, возводить его к финно-пермскому периоду едва ли стоит, но понятие безусловно древнее;

– ф.-в. (ф.-морд.) **säke* ‘огниво’ [UEW: 771];

– ф.-п. **šēra* ‘оселок, точильный камень’ [UEW: 783-784] – хотя, конечно, использование точильных камней было возможно и в бронзовом веке.

Индоевропейско-финно-угорские контакты финно-волжской эпохи в области социальных отношений и духовной культуры отражены в следующих терминах:

– ф.-в. (ф.-морд.) **orja* ‘раб’ (← ар.: ав. *airya-* ‘ариец, арийский’ и т. д.) [Joki 1973: 297]. Речь должна идти о весьма типичном развитии значения ‘иноплеменник, чужак’ > ‘раб’.

– морд. М *pavas*, Э *paz* ‘бог’ ← иран.: ав. *baṣa-* ‘бог, податель благ’ [Joki 1973: 301];

– морд. Э *puṛgiñe* ‘гром’, *puṛgiñe paz* – бог грома ← балт.: лит. *Perkūnas* бог грома, то же балтское слово заимствовано в прибалтийско-финский в другом значении: ф. *perkele* ‘чёрт’ [Kalima 1936: 147];

– ф. *taivas* ‘небо’ ← балт.: лит. *diēvas* ‘бог’ [Kalima 1936: 163].

Возможно, что финно-волжское слово для ‘бога’, которое не имеет параллелей в восточных финно-угорских языках, **juma* (> ф. *jumala*, мар. *jumo* и т. д.) [UEW: 638] – также имеет балтское происхождение, ср. лтш. *jumis* ‘двойной колос; полевой дух’.

Сокращения названий языков

Абх. – абхазский, ав. – авестийский, агул. – агульский, ар. – арийский, арм. – армянский, балт. – балтский, вах. – ваханский, венг. – венгерский, герм. – германский, греч. – (древне)греческий, груз. – грузинский, др.-инд. – древнеиндийский, др.-норв. – древненорвежский, индоар. – индоарийский, иран. – иранский, лаз. – лазский, лат. – латинский, лив. – ливский, лит. – литовский, манс. – мансийский (северный по умолчанию, Кон. – Конда, Пел. – Пелым), мар. – марийский (лугово-восточный по умолчанию), морд. – мордовский (М – мокшанский, Э – эрзянский), нем. – немецкий, общесаам. – общесаамский, осет. – осетинский (иронский по умолчанию), п. – пермский, перс. – персидский (новоперсидский), пехл. – пехлеви (среднеперсидский), ПИЕ – праиндоевропейский, ППерм – прапермский, пр.-ф. – (пра)прибалтийско-финский, прус. – древнепрусский, ПСл – праславянский, ПУ – прауральский, ПУг – праугорский, ПФУ – прафинно-угорский, рус. – русский, саам. – саамский (Н – норвежский саамский), сельк. – селькупский (тазовско-туруханский по умолчанию), табас. – табасаранский, тох. – тохарский (А – карашарский, восточно-тохарский, В – кучанский, западно-тохарский), удм. – удмуртский, ф. – финский,

ф.-в. – финно-волжский, ф.-п. – финно-пермский, хант. – хантыйский (ваховский по умолчанию, Тром. – тромьюганский) хот.-сак. – хотано-сакский, шугн. – шугнанский, шум. – шумерский, эст. – эстонский.

Литература

- Абаев В.И. 1972. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // *Древний Восток и античный мир*. Москва.
- Агеева Р. А. 1974. Субстратная гидронимия западной части Калининской области (в границах исторической Деревской пятины) // *Топонимия центральной России / Вопросы географии*. Сборник 94. Москва.
- Альквист А. 1997. Мерянская проблема на фоне многослойности топонимии // *Вопросы языкознания*. №6. Москва.
- Альквист А. 2000. Меряне, не меряне... (I) // *Вопросы языкознания*. №2. Москва.
- Альквист А. 2000а. Меряне, не меряне... (II) // *Вопросы языкознания*. №3. Москва.
- Берецки Г. 1974. Существовала ли праволжская общность финно-угров? // *Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae*. Т. 24. Budapest.
- Борлукова Н. В. 1997. Удмуртское *sur* ‘пиво’. Терминология пивоварения у финно-угорских народов // *Linguistica uralica*. Т. 33: 1. Tallinn.
- Ванагас А. П. 1977. Максимальный ареал балтской гидронимии и проблема происхождения балтов // *Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов*. Рига.
- Гордеев Ф. И. 1967. Балтийские и иранские заимствования в марийском языке // *Происхождение марийского народа*. Йошкар-Ола.
- Гуя Я. 1974. Прародина финно-угров и разделение финно-угорской этнической общности // *Основы финно-угорского языкознания*. Т.1. *Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков*. Москва.
- Европеус Д. П. 1874. Об угорском народе, обитавшем в средней и северной России до прибытия туда нынешних жителей. Санкт-Петербург.
- ИЭСОЯ I–V. – Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1-5. Москва-Ленинград, 1958-1995.
- Казанцев Д. Е. 1980. К вопросу о месте и времени проникновения иранских слов в древнемарийский язык // *Вопросы грамматики и лексикологии / Труды Марийского НИИ*. Вып. 47. Йошкар-Ола.
- Казанцев Д. Е. 1985. Формирование диалектов марийского языка. Йошкар-Ола.
- Керт Г. М. 1971. Саамский язык (кильдинский диалект). Ленинград.
- Кнабе Г. С. 1962. Словарные заимствования и этногенез // *Вопросы языкознания*. №1. Москва.
- Косарев М. Ф., Кузьминых С. В. 2000. К проблеме поисков уральской прародины // *Тверской археологический сборник*. Вып. 4. Тверь.
- Кузнецов С. К. 1910. Русская историческая география. Часть 1. Москва.
- КЭСК – Лыткин В. Е., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. 2-е изд. с доп. Сыктывкар, 1999.
- Лушников А. В. 1990. Стратификация ирано-уральских языковых контактов. АКД. Москва.
- Матвеев А. К. 1964. О древнем расселении самодийцев по данным топонимики // *Топонимика Востока*. Москва.
- Матвеев А. К. 1964а. Субстратная топонимия Русского Севера // *Вопросы языкознания*. №2. Москва.
- Матвеев А. К. 1968. О древнейших местах расселения угорских народов (по данным языка) // *Труды Камской археологической экспедиции*. Вып.4 / *Учёные записки Пермского университета*. Вып.191. Пермь.

- Матвеев А. К. 1968а. Пермские элементы в субстратной топонимике Русского Севера // *Советское финно-угроведение*. Т. 4, №1. Таллин.
- Матвеев А. К. 1979. Древнее саамское население на территории Севера Восточно-Европейской равнины // *К истории малых народностей Европейского Севера СССР*. Петрозаводск.
- Матвеев А. К. 1991. К лингвоэтнической идентификации финно-угорской субстратной топонимии // *Uralo-Indogermanica*. Часть 1. Москва.
- Матвеев А. К. 1996. Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // *Вопросы языкознания*. №1. Москва.
- Матвеев А. К. 1998. Мерянская топонимия на Русском Севере – фантом или феномен? // *Вопросы языкознания*. №5. Москва.
- Матвеев А. К. 2001. Мерянская проблема и лингвистической картографирование // *Вопросы языкознания*. №5. Москва.
- Матвеев А. К. 2001а. Субстратная топонимия Русского Севера. Часть I. Екатеринбург.
- Матвеев А. К. 2004. Субстратная топонимия Русского Севера. Часть II. Екатеринбург.
- Мокшин Н. Ф. 1991. Тайны мордовских имён. Исторический ономастикон мордовского народа. Сарнаск.
- Муллонен И. 1994. Очерки вепсской топонимии. Санкт-Петербург.
- Напольских В. В. 1990. Проблема формирования финноязычного населения Прибалтики (к рассмотрению дилемм финно-угорской предьстории) // *Исследования по этногенезу и древней истории финноязычных народов*. Ред. Л.А.Наговицын. Ижевск.
- Напольских В. В. 1995. Рецензия на книгу: [Муллонен И.И. Очерки вепсской топонимии. Санкт-Петербург, 1994] // *Финно-угроведение*. №2. Йошкар-Ола.
- Напольских В. В. 1997. Происхождение субстратных палеоевропейских компонентов в составе западных финно-угров // *Балто-славянские исследования 1988-1996*. Москва.
- Напольских В. В. 1997а. Введение в историческую уралоистику. Ижевск.
- Напольских В. В. 2001. “Угро-самодийцы” в Восточной Европе // *Археология, этнография и антропология Евразии*. № 1 (5). Новосибирск.
- Напольских В. В., Энгватова А. В. 2000. Симпозиум «Контакты между носителями индоевропейских и уральских языков в неолите, энеолите и бронзовом веке (7000-1000 гг. до н.э.) в свете лингвистических и археологических данных» (Твярминне, 1999) // *Российская археология*. №4. Москва.
- Напольских В. В. 2006. Балто-славянский языковой компонент в Нижнем Прикамье в середине I тыс. н. э. // *Славяноведение*. №2. Москва.
- Откупщиков Ю. В. 2001. Opera philologica minora (античная литература, языкознание). Санкт-Петербург.
- Попов А. И. 1965. Географические названия (введение в топонимику). Москва – Ленинград.
- Поспелов Е. М. 1965. О балтийской гипотезе в севернорусской топонимике // *Вопросы языкознания*. №2. Москва.
- Поспелов Е. М. 1970. Метод географических терминов в анализе субстратной топонимии Севера // *Вопросы географии*. Сборник 81. Москва.
- Сводеш М. 1960. Лексико-статистическое датирование доисторических этнических контактов // *Новое в лингвистике*. Выпуск 1. Москва.
- Седов В. В. 1974. Гидронимические пласты и археологические культуры Центра // *Топонимия центральной России / Вопросы географии*. Сборник 94. Москва.
- Серебренников Б. А. 1955. Волго-окская топонимика на территории Европейской части СССР // *Вопросы языкознания*. №6. Москва.

Серебрянников Б. А. 1957. О некоторых следах исчезнувшего индоевропейского языка в центре Европейской части СССР, близкого к балтийским языкам // *Труды Академии наук Литовской ССР. Серия А.* Вып. 1 (2). Вильнюс.

Серебрянников Б. А. 1966. О гидронимических формантах *-ньга, -юга, -уга* и *-юг* // *Советское финно-угроведение.* Т. 2, №1. Таллин.

Смолицкая Г. П. 1974. Картографирование гидронимии Поочья // *Топонимия центральной России / Вопросы географии.* Сборник 94. Москва.

Старостин С. А. 1989. Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика // *Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока.* Часть 1. Москва.

Старостин С. А., Бурлак С. А. 2001. Введение в лингвистическую компаративистику. Москва.

Стеблин-Каменский И. М. 1999. Этимологический словарь ваханского языка. Санкт-Петербург.

Ткаченко О. Б. 1985. Мерянский язык. Киев.

Топоров В. Н., Трубочёв О. Н. 1962. Лингвистический анализ топонимов Верхнего Поднепровья. Москва.

Топоров В. Н. 1972. "Baltica" Подмосковья // *Балто-славянский сборник.* Москва.

Топоров В. Н. 1977. Балт. *galind- в этно-лингвистической и ареальной перспективе // *Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов.* Рига.

Топоров В. Н. 1989. Балтийский элемент в гидронимии Поочья // *Балто-славянские исследования 1987.* Москва.

Третьяков П. Н. 1958. Волго-окская топонимика и вопросы этногенеза финно-угорских народов // *Советская этнография.* №4. Москва.

Трубе Л. Л. 1966. О балтийских элементах в гидронимии Горьковской области (в связи с определением восточной границы древнего расселения балтийских племён) // *Конференция по топонимике Северо-Западной зоны СССР. Тезисы докладов.* Рига.

Хайду П. 1985. Уральские языки и народы / Пер. с венг. Е.А.Хелимского. Москва.

Хелимский Е. А. 1982. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели (лингвистическая и этногенетическая интерпретация). Москва.

Хелимский Е. А. 1985. Рецензия на: Symposium saeculare Societatis Fenno-Ugricae (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Vol.185. Helsinki, 1983) // *Советское финно-угроведение.* Т. 21:4. Таллинн.

Хелимский Е. А. 2000. Компаративистика, уралистика: лекции и статьи. Москва.

Хелимский Е. А. 2006. Северо-западная группа финно-угорских языков и её субстратное наследие // *Вопросы ономастики.* №3. Екатеринбург.

ХЗП – Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. Перевод и примечания В. И. Мутузовой. Москва, 1997.

Шилов А. Л. 1997. Ареальные связи топонимии Заволочья и географическая терминология заволочской чуди // *Вопросы языкознания.* №6. Москва.

Шилов А. Л. 2001. О мерянских топонимических индикаторах (голос в дискуссии) // *Вопросы языкознания.* №6. Москва.

Яценко А. И. 1974. Языковая принадлежность топонимии и микропонимии Курской области // *Топонимия Центральной России / Вопросы географии.* Сборник 94. Москва.

Ahlquist A. 1992. Финно-угорский субстрат в топонимии Ярославского края на материале гидронимных формантов. Helsingin yliopisto. Lisensiaatintutkimus.

Austerlitz R. 1980. Language-family-density in North America and Eurasia // *Uralaltaische Jahrbucher.* Bd. 52. Wiesbaden

Blažek V. 1990. New Fenno-Ugric - Indo-Iranian lexical parallels // *Uralo-Indogermanica.* Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. Часть 2. Москва.

Būga K. 1958. Kalbų mokslas bei musų senovė // *Būga K. Rinktiniai raštai.* Т. 1. Vilnius.

Būga K. 1959. Kalba ir senovė // *Būga K. Rinktiniai raštai.* Т. 2. Vilnius.

- Castrén M. A. 1862. Bemerkungen über Sawolotscheskaja Tschud // *Castrén M. A. Nordische Reise und Forschungen*. Bd. 5. Kleinere Schriften. Sankt-Petersburg.
- Collinder B. 1954. Proto-Lappish and Samoyed // *Uppsala universitets Årsskrift*. B.10. Uppsala.
- Déczy Gy. 1965. Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden.
- DEWOS – Steinitz W. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der Ostjakischen Sprache. Berlin, 1956-1993.
- Genetz A. 1895. Ensi tavun vokaalit suomen, lapin ja mordvan kaksija useampitavuissa sanoissa. Helsinki.
- Häkkinen K. 1984. Wäre es schon an der Zeit, den Stammbaum zu fällen? // *Ural-altaische Jahrbücher. Neue Folge*. Bd. 4. Wiesbaden.
- Harmatta J. 1977. Irániak és finnugorok, irániak és magyarok // *Magyar őstörténeti tanulmányok*. Budapest.
- Itkonen T. 1984. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Osa 1. Porvoo.
- Jacobsohn H. 1922. Arier und Ugrofinnen. Göttingen.
- Joki A.J. 1962. Finnougrisch im Ossetischen? // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 125. Helsinki.
- Joki A.J. 1973. Uralier und Indogermanen / *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 151. Helsinki.
- Kalima J. 1935. Neuere Forschungen über baltisch-finnische und finnisch-slavische Beziehungen. Zu den westfinnischen geographischen Namen in Rußland // *Zeitschrift für slavische Philologie*. Bd. 12:1-2. Leipzig.
- Kalima J. 1936. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki.
- Kalima J. 1946. Über die Erforschung russischen Ortsnamen fremden Ursprung // *Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften 1945*. Helsinki.
- Katz H. 1985. Studien zu den älteren indoiranischen Lehnwörter in den uralischen Sprachen. Manuskript der Dissertation. München
- Koivulehto J. 2001. The earliest contacts between Indo-European and Uralic speakers in the light of lexical loans // *Early contacts between Uralic and Indo-European: linguistic and archaeological considerations / Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. T. 242. Helsinki.
- Korhonen M. 1981. Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki.
- Krahe H. 1954. Sprache und Vorzeit. Heidelberg.
- Lehtiranta J. 1986. Zur Verwertung “proto-lappischer” Elemente // *Советское финно-угроведение*. T. 22:4. Таллинн.
- Lehtiranta J. 1989. Yhteissaamelainen sanasto / *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. T. 200. Helsinki.
- LEW I-II – Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1-2. Heidelberg – Göttingen, 1965.
- Munkácsi B. 1901. Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. Köt. 1. Magyar szójegyzek. Budapest.
- Napolskikh V. V. 1993. Uralic fish-names and original home // *Ural-altaische Jahrbücher. Neue Folge*. Bd.12. Wiesbaden.
- Napolskikh V.V. 1995. Uralic ‘seven’ // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 86. Helsinki.
- Napol’skikh W. W. 1996. Die Vorslaven im unteren Kamagebiet in der Mitte des 1. Jahrtausends unserer Zeitrechnung: Permische Sprachmaterial // *Finnisch-ugrische Mitteilungen*. Bd. 18/19. Hamburg.
- Napol’skikh V.V. 2001. Tocharisch-uralische Berührungen: Sprache und Archäologie // *Early contacts between Uralic and Indo-European: linguistic and archaeological considerations / Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Bd. 242. Helsinki.
- Nyberg H. S. 1974. A manual of Pahlavi. Vol. 2. Glossar. Wiesbaden.

- Pusztay J. 1995. Diskussionsbeiträge zur Grundsprachenforschung (Beispiel: das Protouralische) / *Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica*. Bd. 43. Wiesbaden.
- Qvigstad J. K. 1945. Dobbeltkonsonant i forlyd i lappisk // *Studia septentrionalia*. T. 2. Oslo.
- Raun A. 1956. Über die sogenannte lexicostatistische Methode oder Glottochronologie und ihre Anwendung auf das Finnisch-Ugrische und Türkische // *Ural-altaische Jahrbücher*. Bd. 28. Wiesbaden.
- Ravila P. 1949. Suomen suku ja suomen kansa // *Suomen historian käsikirja*. N.1. Porvoo - Helsinki.
- Rédei K. 1986. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten / *Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte*, 468. Wien.
- Ritter R.-P. 1993. Studien zu den ältesten germanischen Entlehnungen im Ostseefinnischen / *Opiscula fenno-ugrica Gottingensia*. T. 5. Frankfurt am Main.
- Saarikivi J. 2006. Substrata Uralica. Studies on Finno-Ugrian substrate in northern Russian dialects. Helsinki – Tartu.
- Salminen T. 2001. The rise of the Finno-Ugric language Family // *Early contacts between Uralic and Indo-European: linguistic and archaeological considerations / Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Bd. 242. Helsinki.
- Sammallahti P. 2001. The Indo-European loan-words in Saami // *Early contacts between Uralic and Indo-European: linguistic and archaeological considerations / Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. T. 242. Helsinki.
- Sebestyén I. 1953. Beiträge zum Problem der protolappischen Sprache // *Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae*. T. 3, f. 3-4. Budapest.
- Schmid W. P. 1966. Alteuropa und der Osten im Spiegel der Sprachgeschichte / *Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft*. Bd. 22. Innsbruck.
- Schrader O. 1907. Sprachvergleichung und Urgeschichte. Jena.
- Schrijver P. 2001. Lost languages in northern Europe // *Early contacts between Uralic and Indo-European: linguistic and archaeological considerations / Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Bd. 242. Helsinki.
- Sjögren A. 1861. Die Syrjänen, ein historisch-statistisch-philologischer Versuch // *Sjögren A. Gesammelte Schriften*. Bd. 1. Sankt-Petersburg.
- Sköld T. 1961. Die kriterien der urnordischen Lehwörter im Lappischen. Bd. 1. Uppsala.
- Sutrop U. 2000. From the 'language family tree' to the 'tangled web of languages' // *Congressus nonus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Pars 1. Tartu.
- Taagepera R. 1994. The linguistic distances between Uralic languages // *Linguistica Uralica*. T. 30:3. Tallinn.
- Thomsen V. 1890. Berøringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) sprog. København.
- Toivonen Y. 1949. Protolapin ongelmasta // *Suomalaisen Tiedeakatemia esitelmät ja pöytäkirjat 1949*. Helsinki.
- Trautmann R. 1910. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Göttingen.
- UEW – Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest, 1986-1991.
- Uotila T. E. 1930. Etymologioita // *Virittäjä*. Helsinki.
- Vaba L. 1997. Ostseefinnisches meri 'Meer' – doch ein baltisches Lehwort // *Finnisch-ugrischen Sprachen in Kontakt. Vorträge des Symposiums aus Anlaß des 30-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 21.-23. November 1996*. Maastricht.
- Vasmer M. 1932. Beiträge zur historische Völkerkunde Osteuropas. I. Die Ostgrenze der baltischen Stämme // *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse*. Bd. 16. Berlin.
- Vasmer M. 1934. Beiträge zur historische Völkerkunde Osteuropas. II. Die ehemalige Ausbreitung der Westfinnen in den heutigen slavischen Ländern // *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse*. Bd. 18. Berlin.

Vasmer M. 1935. Beiträge zur historische Völkerkunde Osteuropas. III. Merja und Tscheremissen // *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse*. Bd. 19. Berlin.

Vasmer M. 1936. Beiträge zur historische Völkerkunde Osteuropas. IV. Die ehemalige Ausbreitung der Lappen und Permier in Nordrußland // *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse*. Bd. 20. Berlin.

Vasmer M. 1941. Die alten Bevölkerungsverhältnisse Rußlands in Lichte der Sprachforschung // *Vorträge und Schriften der Preußischen Akademie der Wissenschaften*. Heft 5. Berlin.

Vitso T.-R. 1983. Läänemeresoomlased: maahõive ja varaseimad kontaktid // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 185. Helsinki.

Wiklund K. B. 1896. Entwurf einer urlappischen Lautlehre // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Bd. 1. Helsinki.